

Екатерина Алипова

ОДНАЖДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ



Екатерина Алипова
Однажды в Петербурге

«Сибирская Благовонница»

2022

УДК 242
ББК 84(2Рос=Рус)

Алипова Е. А.

Однажды в Петербурге / Е. А. Алипова — «Сибирская
Благовонница», 2022

ISBN 978-5-00127-348-6

Каким оно было, XVIII столетие? Преступным или героическим, безумным или мудрым, безобразным или прекрасным? А зачем же в XXI веке писать историю о давно прошедшем восемнадцатом? Может быть потому, что вопросы веры и верности, любви и выбора, встающие перед героями романа Екатерины Алиповой «Однажды в Петербурге», актуальны на все времена?..

УДК 242
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-00127-348-6

© Алипова Е. А., 2022
© Сибирская Благовонница, 2022

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть 1 | 6 |
| Пролог | 6 |
| Глава 1 | 8 |
| Глава 2 | 12 |
| Глава 3 | 16 |
| Глава 4 | 20 |
| Глава 5 | 25 |
| Глава 6 | 30 |
| Глава 7 | 34 |
| Глава 8 | 37 |
| Глава 9 | 41 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |



Екатерина Алипова

Однажды в Петербурге

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной церкви
ИС Р22-207-0171*

© Алипова Е.А., текст, 2022

© Сибирская Благовонница, 2022

Часть 1 Рыжее солнце



Пролог

Чайник, отдраенный до блеска, несмотря на свой почтенный возраст, пригрелся на печке и с минуты на минуту собирался закипеть, когда снаружи раздался стук. Положенной молитвы матушка не услышала, но, вероятно, просто из-за того, что дверь была очень толстой.

– Машенька, ты чаво ж ефто на пороге стоишь? – Пожилая монахиня открыла племяннице дверь и теперь суетилась, стараясь принять гостью как можно лучше. – Как раз я чайник поставила. Заходи.

– Нет-нет, матушка. – Молодая тоненькая девушка, застывшая на пороге скромной келейки Угличского Богоявленского монастыря, смутилась и от этого стала еще симпатичнее. – Я ненадолго. Только узнать про твоё житье-бытьё.

– А и ненадолго, – продолжила гостеприимная хозяйка, – как без чаю-то? Согреться душой и телом.

– Ну хорошо, – в конце концов согласилась Машенька, заходя и присаживаясь на небольшой пенек, служивший стулом. И тут же хитро прищурилась: – Но при одном условии.

– Ишь ты! – беззлобно хмыкнула матушка. – Что же это за условие такое, свет-душа моя Марья Арсеньевна?

– Ты расскажешь мне какую-нибудь историю! Только правдивую!

– Ефто можно, – протянула монахиня, улыбнувшись. – Ну вот и чайник вскипел!

Не дав племяннице помочь, сама доковыляла, хромая на правую ногу, до печки, голой рукой сняла закипевший чайник и залила листья кислицы и ягоды – малину и чернику. Этот напиток она называла чаем и считала лекарством от любой хвори. Протянула гостье чашку и, отхлебывая из своей, дую на прозрачную, чуть зеленоватую жидкость, затянула напевным, совсем молодым голосом:

– Было ефто давно, в царствование присной памяти Государыни нашей Лисаветы Петровны...



Глава 1

Три подруги

– Кира! – звала высокая черноглазая барышня в присыпанном веселым искрящимся снегом соболем полушубке. – Кира! Леночка! Что вы копаетесь? Идите скорее сюда!

Та, которую звали Кирой, – застенчивая полноватая и румяная девушка с изрытым былой оспой лицом, – неловко семеня по заледеневшей дороге и поминутно хватаясь за рукав своей спутницы Леночки, изо всех сил пыталась нагнать подругу. Звавшая их барышня переминалась с ноги на ногу от нетерпения и холода и увлеченно, с азартом глядела на что-то далеко впереди себя.

– Что там? – полюбопытствовала Леночка, подходя и с силой за руку подтаскивая за собой неуклюжую Киру.

– Смотри.

Леночка повернула свою красивую, будто из мрамора выточенную голову туда, куда указывала подруга. Там стайка озорных мальчишек дразнила нищенку, тыча в нее длинными палками и метко кидая снежками, а то и комьями мерзлой земли. Мальчишки улюлюкали, озоровато смеялись и явно соревновались друг с другом в красноречии, стараясь как можно более задеть несчастную женщину.

Нищенка представляла собою страшное зрелище. Лохмотья чего-то красного, очевидно бывшие раньше платьем, куце свисали с тощей фигуры и трепыхались оборванными краями на ледяном крещенском ветру. Из-под сбившейся набок засаленной ткани платка в беспорядке выбивались белесые короткие волосы. При этом женщина была совсем молодая, вряд ли старше тридцати лет, но всем обликом производила впечатление старухи.

Когда мальчишки, совсем вошедшие в раж, сделали особенно ловкий выпад, наблюдавшая за ними черноглазая девушка захлопала в высвобожденные из белой пушистой муфты ладоши, прикрытые черными изящными перчатками с меховой оторочкой:

– Так, так! Ату ее!

– Паша, как тебе не стыдно! – звонко воскликнула Кира. – Побойся Бога! Ить из церкви идем, не с балаганов!

– Да ну, какая ты скучная! Сразу видно, провинциалочка! На маменькиных киселях да бабушкиных блинах росла, за околицу носу не казала! – смеялась Паша. – А у нас, в столице, любят жестокие забавы! Так ведь, Леночка?

Розовощекая от мороза нежно-мраморная Леночка стояла потупившись и закусив губу, а потом кивнула невпопад и деловито сказала куда-то в пространство:

– Пойдем. Нас дома ждут.

– И правда, – согласилась Паша, – нечего на всякую ерунду глазеть! Тем более дома ждет Арсений! – Девушка мечтательно завела к небу свои красивые глаза.

Родной старший брат Леночки, Арсений, был помолвлен с Пашей Бельцовой, и дело медленно, но неуклонно шло к свадьбе. Жених был ни много ни мало из первого поколения студентов недавно открытого в Москве университета. Минувшим летом он окончил с отличием очередной год – оставался еще один – и приехал на Святки домой.

– Да уж, – подхватила Леночка, – вот он обрадуется! С летних каникул тебя не видал!

Она взяла подругу под руку, и обе поспешили в сторону дома, находившегося в дальней части Петроградской стороны.

– Если б ты видела, как он за это время вырос! – продолжала девушка на ходу, семеня за длинноногой и потому быстро шагающей Пашей. – А еще усы отрастил, совсем как взрослый. Смешно даже!

– Усы? – поморщилась Паша. – Скажи ему, что, если не сбреет, я за него замуж не пойду!

– Так и скажу. Ты думаешь, после этого сбреет? – Леночка рассмеялась.

– А то нет! Ну я ему покажу! – Паша весело погрозила кулаком воображаемому жениху. Потом, не переставая смеяться, шепнула Леночке в самое ухо: – А знаешь, какое он мне письмо давеча написал? Любой древнеримский ритор бы позавидовал!

– Кто позавидовал? – переспросила Леночка, непонятливо моргая незабудочными глазами.

– Да ладно, ты не поймешь... – отмахнулась досадливо Паша. Она была дочерью барона, а потому образованнее обеих подруг. – Так вот, слушай: «Милая сердцу моему Прасковья Дмитриевна! Ввиду того что очередной год обучения в Московском университете успешно мною закончен и я направляю стопы мои к родным пенатам, я желал бы, если будет на то соизволение родителей моих, видеть Вас у нас на праздник Крещения Господня, дабы иметь удовольствие лицезреть Вас, приложиться к Вашим дорогим ручкам и паки и паки в наинужнейших и наиизысканнейших выражениях изъяснить к Вам мою всегдашнюю любовь и искреннейшую сердечную привязанность. Ибо, находясь на обучении в древней столице Отечества нашего и не имея, таким образом, возможности созерцания дражайшего лица Вашего в течение долгого времени, мне оставалось только повторять слова Псалмопевца: *Возжада Тебе душа моя в земли пусте, непроходне и безводне*¹. Ныне же, направляясь в ныне царствующую столицу возлюбленного нашего Отечества, я смею тешить себя робкой надеждой, что Вы не оставите жаждущего в пустыне, а сполна напоите его радостью лицезрения Вашего. Засим остаюсь всецело преданный Вам смиренный студент Юридического, сиречь правоведческого, факультета Московского университета Арсений Григорьев сын Безуглов. Декабря двадцать третьего дня 1758 года от Рождества Христова».

– Ты даже наизусть выучила? – изумилась Леночка, пропустив мимо своих душевных ушей собственный внутренний голос, посмеявшийся заикнуться о том, что чужие письма, тем более такие интимные, нехорошо не только читать, но и слушать.

– А то! Ты слышишь, как густо кладет? Трехакровский лопнул бы от зависти!

– А кто это такой? – снова не поняла Леночка.

– Пиит, – хмыкнула Паша, не любившая неучености.

– А где Кира? – испугалась вдруг Леночка, озираясь по сторонам. Когда она чувствовала себя глупой, она любила перевести тему, чтобы отвлечь собеседника от этой мысли.

Только сейчас подруги заметили, что Кира отстала где-то на полдороге. Переглянулись встревоженно.

– Опять она во что-нибудь встряла! – досадливо воскликнула Паша, потрянув черной как смоль косой до пят. – Сладу с ней нет!

– Не надо так, – попросила Леночка, – все-таки она моя троюродная сестра. Она же не виновата, что выросла не в столицах.

– Не виновата, – согласилась Паша, – но все же ты к ней слишком снисходительна. Разбаловала!

– Но-но, – Леночка всерьез погрозила подруге пальцем. – Эдак ты со своими крестьянами разговаривать будешь! А я ведь могу и от дома тебе отказать, не посмотрю, что ты мне без пяти минут невестка!

– Как запела-то! – гордо усмехнулась Паша. – Красноречием вся в брата! А от дома ты мне отказать не можешь, могут только твои родители, а они во мне души не чают! Что, съела?

Добрая и немного простодушная Леночка давно привыкла, что на ее подругу иногда находил «бес в ребро», любила ее такой и не видела смысла обижаться: человека-то своими обидами все равно не изменишь. Поэтому все эти речи про «отказать от дома» были не более чем словами. К тому же Арсений любил Пашу всерьез и жениться на ней собирался в самое

¹ В оригинале: *Возжада Тебе душа моя, коль мнозицею Тебе плоть моя в земли пусте, непроходне и безводне* (Пс. 62, 2).

ближайшее время, а именно на Красную Горку, когда станет тепло. Так зачем же ссориться с той, кто скоро станет почти сестрой?

Подруги были уже почти у самого Леночкиного дома, а Киры все не было видно. Если идти искать ее, они опоздают к праздничному обеду, а это в высшей степени некультурно. В конце концов, посоветовавшись немного, подруги приняли решение войти в дом, предупредить хозяев о том, что троюродная сестра из Углича потерялась по дороге, и отрядить кого-нибудь пойти по их следам на поиски заблудившейся Киры.

* * *

Тяжелая дверь из массива дуба громко хлопнула, и патлатая Танька – крепостная девушка Безугловых – кинулась принимать у барышень шубы и шапки.

– Осторожнее! – холодно попросила Паша, вручая ей как самое ненаглядное сокровище свою песцовую муфту.

В переднюю ворвались аппетитные запахи с кухни и залихватский смех вперемежку с головами из комнат. Шепелявые слова Таньки «там барышни пожаловали!» первым услышал высокий статный юноша, залихватски подкручивающий недлинные темные усики и нарочито, напоказ, носящий форму студента университета. Он тотчас отставил в сторону недопитый бокал мозельского и вышел встречать гостей.

– Леночка, здравствуй. – Поцеловались троекратно. – Как в церкви? Не слишком толкались? А хор академический пел? Еще бы, в такой праздник! Надеюсь, они хоть иногда вспоминали, что находятся в Доме Божиим, а не в Парижской академии музыки и танца!

Несмотря на то что Безугловы были достаточно набожны, Арсений по последней моде студентов Московского университета за годы своего обучения сделался почти атеистом и теперь не уставал иронизировать над духовенством, церковной жизнью и религией как таковой.

Паша звонко рассмеялась этой шутке и, сверкнув в сторону жениха чернющими глазами из-под длинных заиндевельных ресниц, ответила в том же тоне:

– О, что Парижская, они явно на сцену Гамбургского театра² метили! Таким фиоритурам позавидовал бы сам Фаринелли!³

Леночка недоуменно смотрела то на брата, то на подругу. Они явно нашли и очень хорошо понимали друг друга, все это было непостижимо ее уму, кроме одного: брат вернулся из университета не тем, что раньше. Неужели в учебном заведении, призванном служить просвещению, учили отвергать Бога? От этой мысли Леночке хотелось плакать: не Арсений ли еще лет двенадцать назад, когда она была совсем маленькой, поднимал ее в церкви повыше, чтобы она могла поцеловать темную икону на аналое?⁴ Не они ли вместе разрисовывали писанки к каждой Пасхе?

– Здравствуйте, Пашенька! – Студент Московского университета церемонно расшаркался перед невестой и, дождавшись, пока та снимет перчатки, с жаром поцеловал ее утонченную руку с изумрудным перстнем.

– Кира потерялась по дороге, – небрежно бросила Паша, брезгливо убирая руку под теплую шаль.

– О! Ее нужно непременно найти! – воскликнул Арсений и кликнул Таньку.

– Чего изволите, барин?

– Салоп мой! И шапку бобровую!

² *Гамбургский оперный театр* – старейший оперный театр Европы (основан в 1677 г.).

³ *Фаринелли* (наст. имя *Карло Броски*; 1705–1782) – знаменитый итальянский певец-кастрат.

⁴ *Аналой* – церковный столик с наклонной столешницей, на который кладется крест или праздничная икона для удобства поклонения верующих.

– Слушаюсь, барин, сию минуту! – Танька засемила в гардеробную, а Арсений, взглянув в зеркало, еще немножко подкрутил левый ус.

– Ровно? – игриво поинтересовался у невесты, подняв брови.

– Ровно-то ровно, – кивнула Паша, – вот только не идет вам, хоть убей!

– А я-то думал пофрантить... – расстроился Арсений. – Но раз вам не нравится, то завтра же отправлюсь к цирюльнику и уберу!

– Отправляйтесь. Поверьте мне, будет лучше.

Молодой человек хотел было ответить невесте что-нибудь в том же духе, но в этот момент вернулась Танька с салопом и шапкой и ловко, привычными жестами помогла молодому барину одеться. Уже на пороге Паша шепнула ему:

– А Давида⁵ ты ловко в письме приплел, для красноречия!



⁵ Это о Псалтири пророка и царя Давида.

Глава 2

Без углов

Ученик третьего класса Академической гимназии⁶ Матвей Безуглов вышел вместе с ватагой соучеников на школьное крыльцо и закашлялся, вдохнув после душного помещения свежий воздух, тронутый крепким крещенским морозцем. Занятий по случаю праздника в тот день не было, но ребята заходили после богослужения устроить празднество для захворавших и потому не разошедшихся по домам товарищей.

С гимназического крыльца открывался потрясающей красоты вид на покоящуюся во льдах Неву, такие же безжизненные гранитные борта набережных и заиндевелый, тянущийся враспогодившееся ради великого праздника небо шпиль Адмиралтейства на том берегу. Матвей окинул взглядом докуда было видно и глубоко вздохнул. В такой день хотелось обнять весь этот город и радостно засмеяться от того, что он есть.

– Эй ты, Без Углов, чего стоишь? Пошли!

Прозвище ребята образовали от его фамилии. Произносили нарочно отдельно, чтобы было на слух понятно, что не по фамилии назвали, а именно прозвищем. Прозвали за мягкосердечие, считавшееся в их среде качеством отрицательным.

Окликнул Витька – розовощекий круглый юноша, бывший заводилой во всех шалостях третьеклассников. Он больше радовался отсутствию занятий, чем празднику и сделанному делу, его молодая энергия требовала выхода, а потому он не терпел остановки и жаждал сейчас же сорваться с места.

– Пошли, – согласился Матвей, торопко и оттого неуклюже спускаясь с заледенелого, припорошенного снежком крыльца. Четверо живших на Васильевском острове – Без Углов и Витька в их числе – повернули в ближайшую линию, а остальная ватага направилась в сторону моста.

– Эх, жалко, святки заканчиваются! – вздохнул Витька. Он явно был раздосадован этим фактом.

– Ничего, уже и Масленая скоро! – отозвался рыжеватый высокий Глеб.

– И то верно!

– О! Вы посмотрите, кто это там! – вдруг сорвался с места третий товарищ, Ванька, пожалуй, еще больший шалопай, чем Витька.

Все остальные обернулись туда, куда указывал их друг.

Заметили они ее не сразу. Казалось, по белой от снега дороге скользила едва колыхавшаяся тень. По мере приближения к ребятам у тени стали различимы большие впалые глаза, ярко-голубые и со следами недавних слез, обветренное и оттого некрасивое лицо и грязно-красные лохмотья на тощей фигуре.

– Да это же... наша давешняя знакомая! – Витька и Ванька разом вошли в раж. – Ату ее! Здесь не место полоумным! Ату!

Витька, Ванька и Глеб моментально подобрали с земли комья плохо слипающегося от сильного мороза снега и льдышки. После очередного крика «ату!» все эти боеприпасы полетели в сторону нищенки. Женщина робко сжалась, как будто ей только сейчас вдруг стало зябко в своей рванине в такой мороз, но защищаться не стала и не ускорила шага, так и продолжала плыть, как призрак, медленно-медленно, даже не глядя в сторону своих обидчиков.

– Эй, Без Углов, а ты что встал? Размазня ты, Матяша, вот что я тебе скажу!

⁶ Учащийся третьего класса гимназии соответствовал возрасту четырнадцати лет (прим. авт.)

Едва мальчишки напали на бедную женщину, Матвей в испуге отошел в сторонку и теперь смотрел на происходящее огромными ошарашенными глазами, не решаясь ни помочь ребятам, ни заступиться за нищенку. Окрик Витьки заставил его вздрогнуть. Меньше всего на свете ему хотелось, чтобы ребята считали его размазней. Но ведь праздник сегодня, да и идут они с доброго дела! Чем эта женщина виновата, что Бог отнял у нее разум? Не побояться, так и спросить об этом у них? Еще, чего доброго, окончательно утвердятся в мысли, что он размазня. Да, собственно, так и оно есть. Но что он может против троих, да еще с ледяными глыбами в руках?

Внезапно взгляд мальчика, блуждающий в попытке уйти от этого зрелища, натолкнулся на другой – глаза серые, испуганные. Круглое лицо в веснушках и бугорках от оспы. На голове – светло-серый пуховый платок, и из-под него выглядывает короткая рыжая коса. Да это же Кира, их троюродная сестра, приехавшая из Углича на праздники. А вон и Леночка рядом с ней – отвела взгляд, кусает губы... Такая же размазня, как и он. Наверное, у них это семейное. Но что-то подсказывает, что Арсений не побоялся бы.

При мысли об Арсении Матвей узнал и третью девушку, наблюдавшую за происходящим с нескрываемым азартом. Это Паша Бельцова, невеста старшего брата. Красивая она все-таки. От матери-грузинки унаследовала черные-пречерные глаза, волосы и брови, от отца-барона – белое лицо и манеры настоящей леди, от многочисленной тифлисской родни – темперамент. Матвей считает ее своим другом, но все же какое счастье, что она не его невеста, а Арсения!

Девушки его, кажется, не заметили, прошли мимо. И слава Богу! В свои четырнадцать Матвею уже хотелось, чтобы прекрасный пол обращал на него внимание, но не в такой ситуации, когда он ведет себя как тряпка. Тем более, можно сказать, все три ему сестры. Лена – родная, кровная; Кира – троюродная; Паша – без пяти минут жена брата.

При виде Леночки, к которой он был очень привязан, Матвея вдруг ужасно потянуло домой: там отец в синем мундире и мама в красивом платье с отутюженным белым воротничком, Арсений и Леночка. Там жарко натоплено, там поют песни, там льется вино и летают прекрасные запахи – цветов, духов, готовящихся на кухне яств. Там все люди *прекраснодушные* – он вычитал это слово в каком-то житии и очень полюбил его – и никто не стал бы обижать бедную безумную нищенку.

Как раз в это время ребятне наскучило кидаться комьями снега в беззащитную женщину, и все трое, по-разбойничьи присвистнув, стали разбредаться по домам. Как только последний из них скрылся за поворотом, Матвей, вдруг набравшись храбрости, кинулся к нищенке. Но она подошла к нему сама все той же неслышной походкой и долго смотрела ему в лицо, как будто вспоминая, где она могла его видеть раньше. Оба молча смотрели друг на друга. Потом Без Углов виновато склонил свою тяжелую от форменного картуза голову. Женщина прошла мимо, продолжая без слов глядеть на него. И вроде бы самые обычные глаза – а от одного этого спокойного взгляда Матяша остро ощутил, что Витька прав, что он и есть самый настоящий размазня. А глаза-то у нее вовсе не безумные... Мальчик с надеждой решил еще раз в них заглянуть, но нищенка уже пошла своей дорогой, по-прежнему как будто плывя над заснеженными линиями, едва касаясь босыми ногами земли. Пройдя еще несколько шагов, Матвей обернулся и вдруг увидел, как Кира, подойдя к женщине, решительно смотав со своей головы платок, покрыла им спину и плечи нищенки. Вот у нее смелости хватает! Она не боится, что кто-то поднимет ее на смех и будет потешаться еще три года. А все почему? Потому что сегодня же вечером скрипучие, но добротнo сколоченные сани, запряжённые соловым Шабашкой, увезут ее в родной Углич. А там никто не знает, никто не видел, а стало быть, никто не станет смеяться.

– Матяша, ты?

Он поднял наконец глаза. Кира стояла совсем рядом, разругавшаяся от мороза, и улыбалась. Она и без того не была красавицей, но до чего же уродливым делала ее лицо улыбка!

Но он знал, еще до сегодняшней истории с платком знал прекрасно, что его троюродная сестра очень добрый человек. За это можно ей простить некрасивость.

– Я.

– Рада, что тебя встретила. Пойдем домой, нас, видать, заждались уже.

Они двинулись в сторону дома, и всю дорогу Кира не переставала тараторить:

– Я отбилась от девочек. Паша, представляешь, ребят подзадоривала, которые ефту женщину обижали! И не знала, что она может быть такой. Ить из церкви же идем! Да и праздник какой великий!

Матвей замялся, частично от природной робости, но больше от того, что троюродная сестра точь-в-точь озвучила его мысли по этому поводу. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы ответить ей, но тут оба услышали окрик:

– Кира! Мы тут с ног сбились, тебя разыскиваем – а ты с Матяшей... Ну хорошо. Живо оба домой, вас все заждались уже!

Арсений стоял посреди утоптанной снежной тропинки, смотрел на ребят сверху вниз и улыбался снисходительно, как улыбаются взрослые шалостям малых детей. Вдруг он посерьезнел, как будто что-то заметив:

– Кузина, а ты что ж это простоволосая? Где твой платок?

– Потеряла по дороге, – отмахнулась Кира.

– Ну что ж ты! – покачал головой старший брат Безуглов. – Непорядок! На вот, возьми. –

Он стянул с головы картуз и протянул девушке.

– Да чаво ты, мне и не зябко вовсе. – От смущения Кира стала пунцовой. – А вот тебе надоть. Ты у нас ученый, голову не застужай.

Она говорила простосердечно, без малейшей позы или насмешки; но картуз взяла, повертела в руках и отдала обратно, сопроводив еще одним аргументом, тоже без тени иронии:

– Большой больно. Утопнуть можно.

Они с Матвеем прошли вперед, а Арсений, чуть поотстав, заметил, что снежинки, искрившиеся кристалликами и таявшие крошечными бисерными капельками в растрепанных рыжих волосах его троюродной сестры, как будто образуют вокруг ее головы подобие диадемы или ореола. Моргнул – и видение исчезло, снова став прозаичными снежинками.

Все трое вошли в дом. Пошли приветствия Матяше, оханья в адрес Киры, благодарственные восклицания о том, что все обошлось, Изображенному на закопченной иконе в красном углу гостиной. Матвей ощутил приятное чувство дома – того самого, где все прекраснодушно и ничего страшного или грустного быть не может во веки веков. И через пару минут его робость перед друзьями и вообще вся эта досадная история с нищенкой подернулись в его сознании тоненьким крещенским ледком забвения, все крепнувшим по мере продвижения праздника к своей кульминации – балу. Мальчик в силу возраста еще не принимал в нем участия, но очень любил смотреть, как горделиво сверкает менуэт, нарастает, как шум моря в шторм, алеман и игриво веселится англез.

А еще Матяшу веселило, что всегда перед балами из Леночкиной комнаты доносился звонкий девичий смех – в переодеваниях к балу, конечно, было что-то дурацкое, но сами барышни обычно этого не замечали, а с самым серьезным видом красовались одна перед другой новомодными нарядами, шпильками, заколками, перчатками и веерами, но за сорок лет своей жизни Матвей Безуглов успел заметить, что, собравшись вместе, девушки смеются всегда. И в этом смехе, перешептываниях и перемигиваниях, полунамеках веером, шуршании тяжелых от фижм юбок, да даже в тех же нелепых кружавчиках на платьях и в легком ореоле духов, следовавшем за очередной красавицей по пятам, была какая-то тайна, будоражившая нервы и заставлявшая Матвея выдумывать предлог, чтобы вновь и вновь проходить мимо сестриной комнаты.

Когда праздников в доме не устраивали, единственным звуком этой комнаты был Леночкин голос, шепчущий молитвы, распеваящий гаммы или заучивающий французские спряжения. Так было всегда, сколько Матвей себя помнил, это было так же естественно, как дождь, снег или солнце на небе, но сейчас, под это девичье задорное щебетание, шепот и смех, у мальчика вдруг почему-то защемило в груди. Как будто в этой комнате пряталось что-то особенное. Матвей тряхнул головой, чтобы отогнать непрощенные сантименты, успокоился и, заложив руки за спину, пошел на их с Арсением половину, подальше от веселой комнаты. Шел, стараясь шагать широко, по-взрослому, шел и насвистывал себе под нос бравурную немецкую песенку, разученную им недавно в гимназии.



Глава 3

Непредвиденные обстоятельства

В танцах Кира участия не принимала. Отчасти потому, что, несмотря на свои шестнадцать лет, вообще еще не танцевала, но главным образом по той причине, что сани, запряженные Шабашкой, уже были поданы к крыльцу и ждали свою рыжеволосую хозяйку. Сама она бегала взад и вперед вместе с Танькой, Нюркой, Авдотьей и другими дворовыми девушками Безугловых, перетаскивая из дома в сани сундуки, мешки и свертки. Семейство Караваевых, в отличие от столичных Безугловых, жило скромно, поэтому личных вещей, которые Кира привезла с собой в Петербург, едва набрался небольшой дорожный ларец, но двоюродный дядюшка был человеком щедрым и с избытком одарил угличскую родню столичными гостинцами.

– А эту нонешнюю моду вы видали? – смеялась Танька, с трудом выговаривая едва знакомое ей слово «мода». Она косилась на Киру и старалась при ней казаться умнее, чем была.

Девушка положила прямо на снег свертки, которые несла в руках, и стала изображать корча смешные рожи:

– Вот тут, – она показала на бедра, – две подушки, вот тут, – на живот, – как будто и вообще нет ничаво под платьем, а вот тут, – поднялась руками выше, – так и вообще срамота, смотреть стыдно.

– *Дикальтэ* это называется, – вставила Авдотья, тоже стараясь щегольнуть перед барышней мудреным словом.

– Не *дикальтэ*, а срам! – с жаром возразила Танька. О свертках она и думать забыла, стояла, утирая сопливый нос полной рукой, и глядела вокруг себя тупыми светло-серыми глазами, как будто выискивая, над чем бы еще подшутить.

– Так потому так и прозвали, что дико! – парировала Авдотья. Потом захохотала звонко, обнажив зубы – очень неплохие, кстати, для ее положения. – А у тебя глаза завидушщи, вот и зубоскальничаешь! Небось самой тако платьишко ой-ой-ой как хочется!

– Ишшо чаво! Стыдоба одна, да и больше ничаво!

– Ой, скромница сыскалась, тоже мне! А то я не вижу, как ты на молодого барина исподтишка зыркаешь!

– Змея ты, Авдуська, подколодная! Я тебе так, по дружбе, втихаря сказала, а ты уж и трепешь!

Танькины глаза налились слезами, и она бросилась на собеседницу, сорвала с нее платок и с силой вцепилась в косу. Авдотья заверещала тоненько, как поросенок, но в долгу не осталась и припечатала обидчицу по голове своей жесткой от работы рукой. Если бы в доме были открыты окна, вопли двух дерущихся девок наверняка заглушили бы веселую мелодию контрданса, но, по счастью, за толстыми стенами ничего не было слышно.

Кире было весело слушать разговоры крестьянок; у себя дома в Угличе она, несмотря на возражения родителей, большую часть времени проводила в передней или в девичьей, помогая пожилой Феше – единственной и бессменной их крестьянке, вынянчившей Киру и схоронившей восьмерых ее братьев и сестер. Но, когда спор Авдотьи с Танькой перешел в драку, барышня подошла к ним. Окрикнула несколько раз. Поняла, что не помогает, пожалала плечами, подняла брошенные Танькой свертки и понесла их в коляску.

На полпути в крики дворни, хруст снега под несколькими парами ног и временами, когда открывалась входная дверь, под долетавшие до переднего двора звуки бала ворвался громкий, чеканный галоп копыт. Кира обернулась на звук – и сейчас же узнала всадника. Это же Тришка, Фешин внук, по будням – подпасок, а по выходным и праздникам – певчий в Корсунской церкви! Старший товарищ ее детских игр, тот, кого Кира Караваева считала почти братом.

Он подругу, кажется, не заметил. Спешился и попросил Нюрку позвать барина. Нюрка побежала выполнять поручение, но далеко не ушла: вспомнив о том, что Кире пора уезжать, Григорий Афанасьевич и Мария Ермолаевна вышли отдать последние распоряжения дворне и попрощаться с двоюродной племянницей. Тришка подошел к ним, поклонился в пояс и тогда уже сказал, глядя на них, но обращаясь к Кире, едва переводя дух от быстрой скачки:

– Беда, барышня! Пурпурная лихорадка!⁷ Наталья Ивановна захворали сильно... Ляксандр Ануфревич просят вас... если вас, – он наконец-то обратился к господам, – ефто не стеснит... остаться покамест тут. А то заразная она дюже, лихорадка ефта...

– Конечно, Кирочка, оставайся! – ласково сказала Мария Ермолаевна, но было видно, что она взволнована.

– Мама? – встревоженно переспросила девушка не Тришку и не тетушку, а пространство. Нет-нет, маме нельзя болеть, у нее слабое сердце! Значит...

– Стой!!! – окрикнула Кира Тришу, уже успевшего снова сесть верхом и отъехать от дома Безугловых. Юноша рванул поводья и остановился в растерянности. Оглянувшись на секунду на добрый гостеприимный дом, где ей были всегда рады, взглядом извинившись перед хозяевами и едва моргнув в адрес вышедших на крыльцо Арсения, Паши Бельцовой, Матвея и без конца щебетавшей с подругами Леночки, девушка подбежала к рыжему жеребцу с нелицеприятной кличкой Шкура и ловко вскочила по-мужски верхом на седло к Трише. Без тени смущения обхватила его сзади руками и присвистнула:

– Но!

От этого зрелища на пару секунд все застыли разинув рты. Потом от толпы провожающих отделились две фигуры и, торопясь, толкая друг друга и от этого пыхтя, бросились по хрусткому высокому снегу вдогонку. Один из догоняющих, высокий, стройный от форменного мундира университета, крикнул «тпру-у-у-у!» и поймал Шкуру за поводья, на ходу скомандовав что-то второму. Но этот второй, прежде чем брат успел отдать ему распоряжение, сам кинулся в сторону конюшни. Увидев, что Арсению удалось остановить лошадь, повернул обратно, завяз в снегу, потеряв в нем туфлю, и, ступая в снеговое месиво кружевным ситцевым чулком, тоже подбежал к отъезжающим.

Арсений схватил Киру за то место, где у девушки должна быть талия – у его троюродной сестры она отсутствовала напрочь, – и с силой потянул ее с седла, но девушка отчаянно отбивалась обеими руками и в конце концов даже засветила ногой брату между глаз. Перепуганный суматохой, да и от природы с дурнинкой, Шкура рванул, и девушка, кувырнувшись через круп коня, повалилась на руки подоспевшему Матвею. Кира, как уже было сказано, отличалась довольно плотным телосложением, поэтому Матяша ее не удержал и уронил троюродную сестру прямо в сугроб. Подбежал, подал руку, но Кира, не опершись о нее, села и сказала отсутствующим голосом:

– Мама... мама болеть не должна! А если вдруг... – Она не договорила, что «вдруг», но разом стала белее окружающего снега, и все поняли, о чем она. – Я нужна ей. Я должна, обязана быть рядом!

Растерянный Матвей так и стоял над ней с вытянутой рукой, как будто все еще надеясь, что Кира Александровна Караваева соблаговолит ею воспользоваться. А вот оправившийся от ее пинка Арсений подошел, не церемонясь, взяв за плечи, поставил кузину на ноги и проговорил тихо и очень серьезно:

– Кира, не делай глупостей. Ты же понимаешь, что твоей маме станет только хуже, если ты будешь постоянно подвергать себя опасности заразиться.

– Нет-нет! Мама будет рада, что я рядом! – упрямо твердила девушка.

⁷ Пурпурной лихорадкой в XVIII в. называли скарлатину.

– А если тебя тоже свалит скарлатина, то мама и подавно будет счастлива! – Арсений иронией попытался разрядить атмосферу.

Он подошел и посмотрел троюродной сестре прямо в глаза, как взрослый, недовольный поведением чересчур расшалившегося малыша, но как *родной* взрослый, готовый при этом понять и даже оценить серьезность проблемы. Этого взгляда Кира не выдержала, крепко-крепко обхватила брата руками и залепетала, всхлипывая, ткнувшись курносый веснушчатый носом в университетский мундир:

– Если мама умрет... а я здесь... с балами, кружавчиками и кавалерами!

И вдруг, с силой оттолкнув и обнявшего ее в ответ и пытающегося утешить Арсения, и опешившего от столь стремительно развивающихся событий Матяшу, бросилась в дом, забежала в отведенную ей в женской половине просторную комнату, куда Танька с Нюркой уже успели перенести вещи, и хлопнула дверью так, что старинная лепнина, украшавшая потолок, едва не обрушилась ей на голову.

Матвей, обрета, наконец, дар речи, но все равно запинаясь от волнения и незнакомого ему до этих пор чувства уверенной решимости, предложил:

– Папенька... давай отправим в Углич... доктора Финницера! По-русски он понимает сносно... и учился за границей, знает, как с этой лихорадкой... пурпурной... бороться... он... справится!

Услышав из уст младшего сына такое предложение, Григорий Афанасьевич, несмотря на обстоятельства, просто просиял:

– Дело говоришь, Матяша! Коляска заложена, а я дам доктору Финницеру денег на дорогу и все, что он сам скажет, что может помочь моей кухне, да заодно и письмо Александру, – так, исключительно полным именем, он называл Кирино отца.

Танька, получившая за драку с Авдотьей серьезную взбучку от господ, а потому притихшая, была отряжена позвать доктора, и через сорок минут, побрякивая от мороза, долговязый востроносый немец, лечивший Безугловых и всю их дворню, но квартировавший зачем-то не у господ, а в скромной гостинице на Петроградской стороне, с ящиком медикаментов под мышкой сел в заложенную для Киры коляску и вскоре скрылся из виду.

На стук в запертую дверь Кира не отреагировала, несмотря на то что он повторился уже в четвертый раз. Заглянув в окно, Арсений (а стучал именно он) увидел, что троюродная сестра все еще лежит ничком, даже не сняв тулупа и платка, и всхлипывает. По временам она приподнималась и, широко, размахисто крестясь, что-то шептала, а потом снова падала на ковер, так что было непонятно, по-прежнему ли она плачет или тревога вылилась в исступленную молитву о здравии так внезапно захворавшей матери.

– Так-так-так! Мой дражайший нареченный шпионит под окнами других девушек и вообще ведет себя, как герой сентиментального романа!

Паша подкралась так бесшумно, что Арсений и не заметил. Обернулся раздраженно: как она может зубоскальничать?! Кира – сестра, такое его к ней отношение уместно и даже вполне прилично. Но, увидев невесту, в очень шедшем ей собольем полушубке, с высокой бальной прической и лучистыми черными глазами, такую черную в окружении белейшего снега, успокоился, повеселел и озоровато запустил в Пашу снежком, чтобы не смела говорить таких вещей. Баронесса Бельцова расхохоталась в ответ и бросила в жениха целую канонаду снежков. Бой продолжался с полчаса и закончился безоговорочной капитуляцией студента Безуглова перед напором, жизненной силой и веселостью невесты.

Той ночью уставшему от столь стремительного развития событий Матвеем приснилась Кира. Она сидела на снегу, не в скромном тулупчике и Леночкином платке, как в жизни, а в бархатном бальном платье цвета балтийской волны, такая же веснушчатая и большеносая, какой была всегда, сколько он ее помнил, и ее распущенные по плечам растрепанные огненно-золотые, рыжие волосы искрились снежинками и солнцем, и единственный этот факт делал его

троюродную сестру по-настоящему прекрасной. Повернувшись на другой бок в надежде, что видение от этого не убежит, Матяша так и не догадался, что Арсению в этот момент неожиданно, вопреки его сердцу и здравому смыслу, снилось то же самое.



Глава 4

Думы старого солдата

Александр Онуфриевич Караваев протянул больную ногу поближе к печи, уселся поудобнее и раскрыл книгу. Морща лоб, пролистал несколько страниц, поняв, что потерял место, на котором остановился; нашел, прочитал абзац и досадливо отшвырнул фолиант в дальний угол.

Это был новый роман неизвестного сочинителя, пожелавшего спрятаться за инициалами А.П. Действие происходило в Северную войну, и именно поэтому Александра Онуфриевича эта книга занимала и одновременно раздражала.

– Ни слова правды! – проворчал мужчина, кряхтя: нога, несмотря на близость к печи, начинала болеть все сильнее, как всегда бывало зимой. – Враль этот А.П., кто бы он ни был... – и Александр Онуфриевич уже в который раз хватался за перо, чтобы подвергнуть этот роман критическому разбору, а потом отослать свое письмо в Петербург, в Коллегию народного просвещения, а может быть, лично Государыне, но каждый раз оставлял эту затею, понимая, что даром слова не владеет. Но написать непременно надо было, потому что нельзя же, чтобы о войне, забравшей его юность, писали враки... Однако в который раз вместо связных мыслей, которые можно было бы предать бумаге, воспоминания унесли его далеко, в пору, когда он был еще молод и не было ни боли в ноге, ни горестей, ни этих неразрешимых противоречий.

В счастливом Санькином детстве было всё как и должно быть: маменька, сказки, калачи... Конечно, крестьянская жизнь на Руси всегда была не сахар, но маленьким всегда перепадало больше, это была маменькина забота, поэтому до поры до времени Санька рос в счастливом неведении настоящей жизни и был румяным веселым пареньком с крутыми пшеничными кудрями и – под густыми рыжеватыми бровями – васильковыми глазами, острыми и зоркими, как у хищной птицы. Кроме того, обладал Санька недюжинной силой, и девки не сводили с него глаз. Хотя был Саня с чудинкой: Бог весть зачем выучился у сельского попа грамоте и, хотя никогда полученными знаниями не пользовался, ходил по селу гоголем и считал себя чуть не прохвесором, как говорили его родные.

Происками врагов рода человеческого, сиречь бесов, считал Санька то обстоятельство, что попал в рекрутскую сказку. Шестнадцати лет от роду, в тот год, как уже четыре с небольшим года Государь Петр Алексеевич воевал со сваями, отправили на войну и его, не посмотрев на то, что по закону нельзя было отнимать единственного сына у матери.

Война оказалась страшнее, чем рисовало Саньке его воображение. То наступления, то отступления, то отсиживания по окопам, в дождь, снег и зной, в гололед, летнюю пыль до небес, весеннюю и осеннюю распутицу. Кровь, от вида которой даже у такого богатыря, как Санька, темнело в глазах, гибель товарищей, такая легкая по исполнению и – в первые пару раз – невыразимо тяжелая для понимания. А потом и она стала чем-то обыденным, простым, как «Отче наш» – и именно в этом, как понял тогда, на исходе третьего года *своей* войны, Саня, и состоял весь ужас этих смертей: вот, был товарищ, сидел рядом в окопе, подкручивал ус, покуривал сигарку, посмеивался, а то вдруг и замолкал, припоминая далекую старушку-мать или молодую жену – и вдруг его так до одури просто настигала, свистя, туземная пуля или рассекал клинок, и с этой теплой кровью уходила куда-то к звездам, или солнцу, или что там было в тот момент на высоком и широком небе, уходила туда не только душа солдата, но и, казалось, последняя земная память и о жене, и о матери, и о родной деревеньке. И хотя Санька этих Аннушек, или Марусь, или Катерин не знал, но по ночам он оплакивал и их, а не только друзей-солдат, и ему чудилось, что священник в вылинявшей епитрахильке отпевает не только павших, но и тех, кто никогда уже не дожидется их домой там, на бескрайних просторах лесной, болотной, полевой и луговой России. И вся Россия, чудилось, возлетала от земли туда, где за облаками на Своем огнезračном престоле восседал Господь, вместе с заупокойными напевами.

И тогда, несмотря на чувство долга и желание отомстить врагам за товарищей, начинало тянуть домой, чтобы его Россия, с морщинистыми щеками, натруженными руками и седой головой в пестром платке, которую он звал маменькой, а односельчане – бабой Лукерьей, осталась еще хоть на малое время здесь, на земле, которую, по словам Спасителя, возделывать нужно было в поте лица, которая щедра была на тернии и волчцы, но при должном уходе и хлеб родила с избытком.

Последней каплей, уже Бог весть на какой год этой бесконечной войны, когда Саньке перевалил второй десяток и побежал третий, стала гибель самого верного его товарища, боевого друга всех этих лет, возмужавшего вместе с ним, да к тому же тезки – Сашки. Пуля срезаала его где-то в том месте, которого нет ни на одной географической карте, в поле, заросшем васильками, среди бела дня, без объяснения причин.

Санька, сглотнув слезы – сколько таких смертей он уже видел, а все равно каждый раз, так не по-солдатски и не по-мужски, плакалось. Перекрестясь в лазоревое небо, подошел к убитому товарищу, облобызал его, как полагалось, троекратно, за все попросил прощения, сам положил, прочитав какие помнил молитвы, в рыхлую землю – до ближайшего села, а стало быть, и до ближайшего попа были сотни километров в любую сторону, – и вдруг, прежде чем засыпать друга комьями все той же земли, в каком-то внезапном, почти бессовестном порыве сунул руку за борт его мундира, отыскал чуть тронутую кровью бумагу – он знал, что павший друг всегда носил ее при себе, – развернул, прочитал, удовлетворенно сунул за борт своего мундира и, быстро перекидав землю, выровнял холмик и воткнул крестообразно две ветки. Потом, торопко оглядываясь, увязал свои скромные военные пожитки и не замеченным по причине краткого послеполуденного солдатского отдыха болотами и лесами стал отходить все дальше от этих мест, все ближе к дому – так, во всяком случае, казалось ему. Географические карты он читать не умел, но сердцем ему чувствовалось, что дом где-то в той стороне, и он шел почти наугад, напролом.

Дней через шесть, а может, через неделю, оборванный, полуголодный и с больной ногой – повредил ее в лесу, когда залез на дерево посмотреть, далеко ли до опушки, а ветка под ним подломилась, – вышел он, наконец, к селению. Увидел небольшой, но добротнo построенный барский дом в окружении лип и вязов и, набравшись смелости, постучал в ворота.

Лай собак вспорол утреннюю тишину и, почти одновременно с ним, крик петухов. На крыльцо легко выбежала полная румяная девушка с толстущей светлой косой до пят, кутаясь в наброшенную на ночное платье шальку, босиком, и протянула оборванцу хлеб. Потом, держа другой рукой свечу, жестом приказав молчать, проводила незнакомца в хлев, постелила сена и дала кружку душистого парного молока. Она вела себя просто и уверенно, но, несмотря на крепкое сложение и румянец, по ткани ночного платья и вязке шали, по тому, как были уложены ее волосы, по всем жестам и манерам Санька распознал в ней барышню. Но на сословное неравенство ему было наплевать по той простой причине, что в то же самое утро, всмотревшись в ее глаза точь-в-точь такого же оттенка, как у него и – главное – у его маменьки, нечаянно наткнувшись взглядом на колыхавшиеся под ночным платьем пышные груди, на вымоченные в росе босые ноги, он понял, что один отсюда не уйдет во веки веков.

Однако, улегшись на сеновале, весь погруженный в подобные мысли, Саня заметил в углу хлева другого человека, закутанного в тонкую шинельку. По-русски тот, другой, не говорил, но настроен был явно неввраждебно и с барышней объяснялся на каком-то неведомом Сане языке. А впрочем, все больше молчал и тяжело кашлял, хворал и выздоравливать не собирался, не столько, как думалось Саньке, потому, что болезнь действительно была так уж сильна, сколько ради того, чтобы за ним как можно дольше ходила *она*.

Звали ее Наташа, она и вправду была барышней, единственной дочерью здешних господ. Впрочем, не совсем здешних: как выяснил вскоре Санька, этот дом был имением господ Безугловых, но проводили они здесь только лето, а остальное время проживали в столице.

Господам, пришедшим посмотреть «Наташенькин лазарет», как они называли этих двух спасенных их дочерью бродяг, он представился именем покойного друга: Александр Онуфриевич Караваев, служилый человек десятого класса. Он не боялся, что обман вскроется: за бортом его мундира лежал военный паспорт, выданный таким-то ведомством на то имя, которым он назвал себя. Да, это был обман, но обман вынужденный: Санька знал, что за побег с войны полагалась смертная казнь, а жить ой-ой-ой как хотелось, особенно с тех пор, как нежные руки Наташи перевязали ему ногу, уложив под тряпочку целый пук каких-то трав. Стало немного легче, но не столько от травок, сколько от заботы, от этих нежных белых рук.

В один из дней его сосед, которого Санька за глаза прозвал немцем, хотя Бог весть, кем был он на самом деле, вдруг сел и на очень ломаном русском попросил Саньку показать свою больную ногу. Тот доверчиво протянул ее, немец важно пощупал и стал что-то лепетать. Саня пожал плечами, ни слова не поняв из длинной прочувствованной тирады; на этом вроде все и успокоилось. Но когда Наташа в очередной раз пришла проведать свой лазарет, он с жаром схватил ее за руку и умоляющим голосом попросил что-то объяснить своему русскому соседу.

– Да отвяжись! – воскликнула Наташа по-русски. – Сказала же: не пойду за лютерана!

– Чего он хочет? – любопытствовал Санька.

– Да ну его! Ерунду мелет!

– И все же? Может, ему чем помочь надо?

– Да ничем ему уже не поможешь! – отмахнулась Наташа, но слова немца все-таки перевела: – Полюбил он меня, вот что. И думает, что ты тоже. И говорит, что немного понимает в лекарском деле и может вправить твою ногу, но только если ты уступишь меня ему.

Санька помолчал немного, потом посмотрел на Наташу проникновенно-нежным, исстрадавшимся по женской любви взглядом и тихо спросил:

– А сама ты как хочешь?

Васильковые глаза барышни загорелись от того, что он догадался спросить ее об этом. Уже за одно это его можно было крепко полюбить. А то ведь даже в дворянском сословии мужчины привыкли решать женскую судьбу сами, по-своему, воспринимая женщину как товар для своего торга. И этот такой же... немец... а наш, родной, русский – он не такой, он спросил...

* * *

Вернувшийся Тришка прервал поток воспоминаний Александра Онуфриевича. Но в голове его все равно засела одна упрямая, адская мысль.

– Да хоть бы она тогда выбрала немца! – пробурчал старый солдат себе под нос, вполуха слушая Тришкин рассказ о происшедших событиях.

И правда, лучше бы она тогда выбрала немца! Тогда бы была счастливее, ходила бы в красивых платяцах, блистала на балах, ела бы из дорогой посуды, как привыкла, и не пришлось бы ей проводить каждый день в кашеварении, штопке, прополке и других трудах, неприличных ее сословию... а так... что он смог дать ей, за что отнял ее юность и доброе имя? Это ли его любовь?

* * *

– Не пойду за лютерана! – повторила Наташа и крепко, цепко повисла у Саньки на шее. – За тебя пойду! Ты наш, русский, ты спросил меня, как хочу я, а стало быть, ты меня любишь...

– Что ж, пусть тогда и болеть во веки веков этой треклятой ноге... Убежишь?

– Убегу! За тобой хоть куда убегу!

– Нынче же ночью убежим?

– Нынче же ночью!

Той ночью, собравшись с мыслями, сложив скудные пожитки и покрепче завязав ногу, Санька вышел выкурить сигарку и посмотреть на звезды. Летнее небо на них было щедро, и, посылая особенно крупным звездам колечки табачного дыма, он помолился о том, чтобы все устроилось так, как они с Наташей загадали. И сейчас же странные звуки, донесшиеся из угла хлева, вынудили его вернуться обратно.

Наташа с перепуганными глазами стояла в самом углу, а немец, забыв всю свою настоящую или надуманную хворь, наступал на нее, дотягиваясь похотливыми руками, пытаясь повалить или вжать в угол. Глаза его горели страшно, и он говорил на ломаном русском:

– Не уйдешь теперь, никуда не деться...

Немец был хоть и высокий, но щуплый, а Наташа – кровь с молоком, и все-таки Санька не рассуждал. Бесшумно подкрался сзади и огрел немца по голове первым, что подвернулось под руку. Он даже не разглядел толком, что это было, схватил Наташу за руку, другой рукой легко взвалил на плечо узел с ее вещами, и оба скрылись в ночи, не забыв предусмотрительно запереть за собой дверь в хлев.

Прежде чем взошла заря, они обвенчались в сельской церкви (за спешность и за молчание Наташа отдала священнику свои рубиновые серьги и браслет) и стали пробираться в город, где жил Наташин дядюшка, единственный человек, который – она знала – не отвернется от нее.

Дядюшка Афанасий, а тем паче его сын, Наташин кузен Гриша, действительно от беглянки не отвернулись, хотя и принять их с Александром не могли. Дядя дал им лошадей и отправил к дальней родственнице в Углич, подальше от возможных знакомых, а значит, от сплетен.

Там они поселились, но долго на хлебниками быть не хотели, и, получив за порядочное поведение разрешение, Александр вскоре своими руками сколотил для семьи новый дом, невеликий, но прочный. Сам стал промышлять плотницким делом, по примеру Иосифа, названного отца Иисуса Христа, и плотником оказался первоклассным. Свет-Наташенька, иначе он ее не величал, занялась хозяйством, и тоже у нее всё спорилось, потому как она хоть и барышня, а дома любила проводить время с дворней и умела и стряпать, и за скотиной ухаживать, и на огороде у нее всегда был урожай, и в доме чистота.

Конечно, были и горести: из девяти детей выжила только Кира, пятая по счету – «серединка», как ласково величал ее отец. Плотницкое дело приносило доход, но не каждый же день требуются услуги такого мастера. Наталия Ивановна ни на что не жаловалась, а только молилась Богу, вела хозяйство и радовалась, и, даже когда супруг сознался ей, что никакой он не служилый человек десятого класса, и не Онуфриевич, и не Караваев, а крестьянский сын без отчества и фамилии, Наташа, конечно, рассердилась, но не на положение свое, а на мужа, что обманул, и потом, успокоившись, сказала, что любит его в любом сословии и, знай правду раньше, все равно убежала бы с ним, а огорчилась только обману.

И только теперь, когда свет-Наташенька лежала в лихорадочном жару и бреде в комнате, Александр мучительно размышлял над тем, что лучше бы она тогда выбрала немца. Еще до того, как тот пытался совершить над ней свое мерзкое деяние, в тот первый раз, когда возник вопрос.

«Родная моя... – подумал Александр Онуфриевич, – святая моя...» Ни слова жалобы за все эти годы, ни упрека, ни слезинки даже, но не такого он желал ей, видит Бог, не такого... Да хоть бы уже померла поскорей, что ли, болезная, лишь бы не мучиться больше в этом болоте, где нет ничего хоть сколько-нибудь подходящего ее уму и сердцу...

Последней мысли он не на шутку испугался, но знал, что за все, что она перестрадала в жизни, Господь непременно заберет ее в рай, и там будет хорошо, потому что не будет ни хвори, ни бедности, а будут их детки, целых восемь, а может – Бог его весть, как там, у Него в покоях все устроено, – будут и красивые платья, и музыка. И хотя не хочется мразь поминать по имени, а все-таки как его звали-то, немца ефтого?..

– Доктор Таддеус Финницер, к вашим услугам, – отрапортовал, слишком правильно выговаривая слова, долговязый тип с чересчур длинным и острым носом, легко спрыгивая с подножки коляски, – направлен Григорием Афанасьевичем Безугловым для осмотра и лечения больной.



Глава 5

Городские сплетни

Святки кончились, Арсений уехал в Москву в университет, Матяша вернулся в гимназию, и Леночка отчаянно заскучала. Конечно, ее радовало, что Кира задержалась у них, но нельзя же целыми днями разговаривать с одним и тем же человеком! Поэтому, когда ее подруга Нина Щенятева прислала приглашение на именины, Леночка была вне себя от счастья и сейчас же попросила Нюрку принести все выходные платья, какие у нее были, чтобы выбрать подходящее для визита к такой моднице, как Нина.

– Как ты считаешь, Кира, какое лучше идет к моим глазам – темно-серое или васильковое?

– Твои глаза дюже хороши, к ним что хошь идет, – улыбнулась простодушно Кира, – а что до моды – ты же знаешь, ничаво я в ефтом не понимаю, у меня самой одно нарядное платьице.

– Да ну, какая ты скучная, Кира... Ты же барышня! – Леночка наставительно покачала головой. – А какая барышня не интересуется нарядами!

– Та, что живет не в столицах и ей не перед кем красоваться в обновках.

Тон у Киры был добродушный и спокойный, и Леночку это почему-то ужасно раздражало. Ну нельзя же быть настолько деревенщиной! А может, ее и кавалеры не интересуют?

– Не очень. – Троюродная сестра из Углича пожала плечами. – Я все равно замуж никогда не пойду. Ну посуди сама: я у родителей одна, а Феша старенькая... Нет, я не брошу их.

– Да, но родители не вечны, – хмыкнула Леночка, – а жизнь такая...

Она осеклась, сообразив, что ненароком наступила на Кирину больную мозоль: с того момента, как пришло известие о болезни Натальи Ивановны Караваевой, шел уже шестой день, а новых вестей не было, ни плохих, ни хороших, и девушка с тревогой прислушивалась к каждому топоту копыт и скрипу колес.

– Ты просто обязана поехать со мной! – Леночка всплеснула руками от радости, что догадалась, как развеять кузину и отвлечь ее от невеселых мыслей.

– Меня Нина не приглашала...

– Она не знает, что ты здесь. А если б знала, непременно пригласила бы... Нет-нет, ты обязана поехать со мной, – продолжала настаивать Леночка. – До праздника еще два дня, я напишу ей, что ты задержалась у нас, и она непременно пришлет приглашение и тебе, вот увидишь!

– ...И платьица нету нарядного...

– Покажи то, что есть.

Кира сходила за платьем, и перед взором Леночки предстало ситцевое нечто со скромным белым воротником и такими же манжетами, несколько раз заштопанное на спине.

– М-да, пожалуй, за эти два дня нам нужно будет сходить к портному! Свое же платье я не могу тебе одолжить.

Лена была высокой и очень худой, а Кира, наоборот, плотная и низкого роста, поэтому последних слов можно было и не говорить, настолько это было очевидно.

Если в светловолосую голову Леночки Безугловой взбрела какая-нибудь идея, она, как правило, требовала немедленного осуществления и, даже когда все уже было сделано, занимала барышню на ближайшие два дня, а то и неделю, если идея была по-настоящему грандиозной. Поэтому, бесцеремонно схватив троюродную сестру за руки, весело рассмеялась:

– Вот прямо сейчас к портному и поедем! – и, окинув взглядом рыжие Кирины волосы, забранные сейчас по-домашнему в косу, сказала: – А к цирюльнику тогда сразу перед праздником, а то его старания даром пропадут.

– Лена, я танцевать не умею... – попыталась возразить Кира.

Кузина посмотрела на нее со смесью удивления, презрения и жалости на лице:

– Что, совсем?

– Ни капельки!

– Ну что мне с тобой делать!

– Оставь меня тут, дома, да и езжай на именины Нины Щенятевой и танцуй там, покуда ноги держат.

– Ну уж нет! – надулась Леночка. А про себя подумала: «Вот дуреха-то! Неужели на бал не хочет? Ну что за глупости, как это можно – не хотеть на бал!» И томно закатила глаза.

– Ну ничего, – сказала она наконец, – ты у нас наблюдательная. Просто смотри внимательно, как другие танцуют, и схватывай, повторяй.

Приглашение Кире Нина Щенятева действительно прислала, и той ничего не оставалось как составить троюродной сестре компанию. Леночка, правда, немного волновалась: Щенятевы были как-никак князьями, и перед ними очень не хотелось ударить в грязь лицом, а потому появление в этом светлом и роскошном доме такой нескладехи, как Кира Караваяева, могло испортить все, но Лене очень хотелось вывести подругу в свет, развеселить ее, а кроме того, именинница была с Кирой знакома и, присылая приглашение и ей, знала, на что идет. Во всяком случае, барышня Безуглова рассудила именно так и этой мыслью утешилась.

Как это очень часто бывало в богатых петербургских домах, парадная лестница, поднимаясь ко входу в нарядную бальную залу, упиралась в зеркало. Делалось это с умыслом, чтобы дамы и кавалеры, перед тем как отдать себя на растерзание тысяч глаз, могли еще раз убедиться в собственной неотразимости или подправить хоть немного ее отсутствие.

В тот вечер среди прочих разнаряженных дам зеркало отразило трех феноменально разных барышень, шедших тем не менее вместе. Первая – худенькая, совсем бледная и с нежно-кукольным румянцем блондинка, которой цирюльник красиво закрутил ее и без того выющиеся волосы; выбравшая наконец, после часа с небольшим примерки, пышное открытое платье бледно-желтого оттенка. Оно почти сливалось с ее волосами, делая барышню похожей на изящную статуэтку из светлого мрамора или слоновой кости. Эта девушка была в веселом и немного взволнованном настроении, поминутно раскланивалась со знакомыми и горела явным нетерпением увидеться поскорей с виновницей торжества, а тем паче с ее братом, юным князем Романом Щенятевым, на которого, по ее собственным словам, «имела виды».

Вторая девушка, шедшая от первой по левую руку, то и дело неумело подбирала то с одной, то с другой стороны подол шелестящего платья цвета насупившегося предгрозового моря, боясь споткнуться на невысоких и частых, выщербленных тысячами пар ног ступенях лестницы. Ее волосы, огненно-рыжие, непослушные, тоже были забраны по последней моде, но отражение в гладком стекле зеркала бесстрастно подсказывало, что выглядит она с высокой прической скорее комично, чем красиво.

Третья из барышень, которую первые две случайно встретили в передней и были очень рады снова увидеться с ней, шла горделивой походкой, как будто под ногами была не лестница, а ровный паркет, по которому ступать можно было уверенно и легко. Что касается платья, эта модница твердо знала, что к ее иссиня-черным волосам больше всего подойдет приглушенный оттенок красного. А если по нему тонкой золотой нитью пущено переплетение стебельков, увенчанное на концах жемчужными лепестками цветов, то по красоте на этом вечере с ней не сравнится, пожалуй, никто. Единственное, о чем она жалела, – что на балу в доме Щенятевых нет ее жениха. Он был студентом этого, как его... она все время забывала это новомодное слово – уни-вер-ситета, а потому находился сейчас в Москве, далеко от столицы и ее радостной, сверкающей светской жизни. И это было действительно жаль, потому что, если бы Арсений Безуглов увидел ее сейчас, он был бы в восторге. Заказать, что ли, ее портрет в этом платье да послать ему к Пасхе... На Красную горку должна была состояться их свадьба, и барышня

не спала ночей, листая журналы свадебной моды, чтобы явиться на собственное венчание прекраснее всех невест всех времен.

– Леночка! – воскликнула хрупкая шатенка Нина Щенятева, бросаясь навстречу вошедшим. – Как я рада! Добрый вечер, Кира! Пашенька, какой дивный оттенок платья!

Подруги обступили пришедших со всех сторон. Кира была представлена им, и, судя по всему, впечатление вышло не таким уж плохим. Во всяком случае, Леночке так показалось.

Князь Роман Щенятев, которым Леночка успела по дороге прожужжать троюродной сестре все уши, оказался высоким, чуть щупловатым и очень красивым юношей. Если бы не роскошный напудренный парик, то молодого князя можно было бы принять за сошедшего со старинной иконы святого, тоже князя и тоже юного. Егошитый золотом зеленый камзол привел в восторг чуть ли не всех присутствующих, как дам, так и кавалеров. Кроме приятной наружности, галантных манер и умения одеваться князь Роман был еще и наследником недюжинного состояния и вел свою родословную от самого Гедимины (впрочем, последним обстоятельством мог похвастаться чуть не каждый второй из собравшихся в зале). Все это делало князя Щенятева объектом повышенного интереса со стороны всех незамужних барышень города, за исключением, пожалуй, только двух: Нины, которая была его сестрой и весь сегодняшний вечер тайно ненавидела брата за то, что в день ее именин он бессовестно оттягивал все внимание на себя, и Киры, не слишком интересовавшейся кавалерами.

Нина очень торопилась рассказать Леночке ужасно интересную, по ее мнению, историю, услышанную ею от некоей Машеньки, которой рассказала ее Лизочка, а той, в свою очередь, по большому секрету сообщила Катенька. И вот теперь в этой цепочке непременно должно было возникнуть еще несколько звеньев сразу, потому что рассказанное Леночке должны были услышать и Паша, и Кира.

– Ты знаешь Парашу Антонову, так ведь? Так вот, встретила я ее давеча, а она, представляешь, с младенцем!

– С младенцем?! Откуда? Она незамужняя ведь... Может, крестник?

– Да слушай же дальше! Я тоже удивилась, говорю, где ты такого чудесного малютку взяла? А она и рассказала: «Приходит, – говорит, – ко мне наша бродяжечка Ксения...» Ну, эту ты, конечно, знаешь – это наша городская сумасшедшая. Ну та, которая величает себя Андреем Федоровичем и на имя Ксения не отзывается. Андрей Федорович – это муж ее покойный, стало быть... как помер, так она умом и поехала...

– Знаю, да, – нетерпеливо перебила ее Леночка, – что там дальше с Парашей Антоновой и младенцем?

– Ну так вот, «приходит ко мне, – это к Параше, стало быть, – наша бродяжечка Ксения и говорит: “Вот ты сидишь тут да носки штопаешь и не знаешь, что тебе Бог сына послал! Беги, – говорит, – скорей на Смоленское кладбище...”». Ну побежала она... она у нас вообще эту бродяжечку сумасшедшую любит – Бог ее разберет, с чего: то ли по христианскому долгу, а то ли оттого, что после кончины мужа эта Ксения ей дом их подарила...

– С того, что подругами они были, пока Ксения в себе была, – ответил кто-то издали.

– Ну, может, и так, – пожалала обнаженными плечами Нина и стала рассказывать дальше: – Побежала Параша на Смоленское кладбище – а там столпотворение, крики... Что такое? Извозчик лихой и нетверезый, представляешь, женщину сбил ненароком, а та на сносях была. И она, бедняжка, прямо там же сына родила да и отдала Богу душу... а Параша не придумала ничего лучше, как этого новорожденного мальчика к себе взять, потому как отца или кого-то из родни тоже не нашли... «Это мне, – говорит, – подарок от Ксении. Я, – говорит, – воспитаю». Как тебе это нравится, а?

Дамы заохали, обсуждая новость. Леночка молчала растерянно и взволнованно, не зная, что и отвечать, но ей на помощь пришла Паша:

– Да врет она все, эта Антонова! Небось согрешила с кем-нибудь втихаря, а Ксенией теперь отговаривается. Бродяжка-то безответная, а значит, все на нее списать можно...

Нина смутилась, но быстро нашлась:

– Нет, этого быть никак не может! Это ты, значит, Парашу Антонову не знаешь! Она такая благонравная и богомольная...

– Подумаешь! – продолжала настаивать Паша Бельцова. – Все они такие, тихони да богомолицы! В тихом омуте... ну, ты сама знаешь, кто водится!

Княжна Щенятева замолкла, покраснела и засопела обиженно. Приглашая на свой вечер баронессу Прасковью Бельцову, она знала, что та обязательно постарается побольнее ее уколоть – то ли окажется наряднее, то ли начнет высмеивать каждое Нинино слово, – но тем интереснее было, да к тому же про себя Нина надеялась, что присутствие на празднике соперницы в очередной раз докажет всем, что Нина красивее, умнее и мягче характером. И вот теперь обстоятельства доказывали лишь последнее, да и то только если считать смущение и неумение дать отпор мягкостью характера.

– Я ее видела полтора месяца назад, – снова вмешались в разговор откуда-то из толпы. – Ни следа беременности заметно не было.

– Так ты небось ее на улице видела, – парировала Паша, – а под салопом иногда и любовника спрятать можно, не то что беременность!

Этой шутке все расхохотались. Слушатели явно были на стороне баронессы Бельцовой, и княжну Щенятеву это злило.

– Нет, Прасковья Дмитриевна, вы, к сожалению, ошибаетесь. – Говорившая наконец пробралась сквозь толпу и встала с глазу на глаз со спорящими. – Я видела ее на собственных именинах, а там она, согласитесь, была без салопа.

Паша, яростно обмахиваясь веером, сверху вниз посмотрела на девушку, все время перебывавшую их с Ниной разговор. Близоруко прищурилась, рассматривая, и наконец признала: это Катерина Голубева, ее знакомая и очень какая-то дальняя родственница Щенятевым.

Воспользовавшись тем, что у баронессы Бельцовой, кажется, иссякли аргументы, Катерина продолжила:

– Ко мне вот тоже заходила на днях... разумею, конечно, Ксению, а не Парашу Антонову... Мы с маменькой кинулись стол накрывать, чтоб, значит, хотя бы чайком ее попить, а она от чая давай отказываться и говорит: ты, мол, тут чай распиваешь, а на Большой Охте твой муж жену хоронит!

– Ну! Слышали ли вы что-нибудь подобное?

– Что это такое – «твой муж жену хоронит»?

– Конечно, безумная, кто ж сомневается! – раздалось со всех сторон.

– А как по-моему, не безумная она, а юродивая: мужа вымаливает!

– Ерунда: нету нынче юродивых. Времена не те! Повывелись все юродивые, по грехам нашим...

Дождавшись, когда наступит тишина, Катерина Голубева снова принялась рассказывать:

– Мы с маменькой подивились тоже, но пошли, потому как у юродивой Ксении все слова не просто так, а со смыслом каким-то особым... Пришли, там и правда погребение. Молодой доктор жену хоронил. Убивался так... молоденькая жена совсем была, любимая... в родах померла, бедняжка...

– Опять?! И ты тоже подобрала младенца?

– Нет, – ответила Катерина невозмутимо, – младенчик тоже скончался. Ну так вот, и так вдовец убивался, горемычный...

– Что ты его пожалела и немедленно воспылала к нему безумной страстью! – засмеялась Паша.

– Про страсть не знаю, но он такой... добрый и такой... несчастный. А по глазам видно, хороший человек, и так мне его жалко стало... Я ему про Ксению рассказала, только по-другому, естественно, про «твой муж жену хоронит» говорить не стала. Сказала просто, что, мол, юродивая Ксения позвала меня вас утешить... напомнила ему про рай и про милосердие Божие...

– Все ясно! – нетерпеливо перебила Паша. – Теперь ты непременно за этого доктора замуж выйдешь, просто так, за послушание полоумной бродяжке... а потом станешь утверждать, что это, мол, Ксения так предсказала и знала все заранее...

Катерина Голубева вспыхнула и хотела с жаром что-то возразить, но начались танцы, и Пашу очень быстро умыкнул какой-то смазливый надушенный кавалер. Князь Роман Щенятев, щуря длинные, чуть косящие карие глаза, галантно подошел к Леночке. Та зарделась и расцвела такой улыбкой, что сомнений в ее расположенности к юному наследнику тысяч душ не осталось ни у кого.

Возможности поговорить в танце почти не было, и тем не менее князь спросил:

– А правду ли говорят, Елена Григорьевна, будто юродивая Ксения – родня Безугловым?

Лена стала еще блее, чем была, и, забыв движения аллемана, встала как вкопанная посреди залы.

– Кто говорит? – прошептала она побелевшими губами.

– Что с вами? – не на шутку испугался Роман. Он взял ее под локоть, отвел на ее место и усадил там, приказав слуге немедленно принести воды.

– Кто это говорит? – упрямо переспросила Леночка, немного приходя в себя.

– Да знаете, как всегда бывает у барышень: сказали шепотом в одном конце России, через пять минут повторяют во всеуслышание в другом...

– Да еще приукрашивают по пути придуманными подробностями.

– Да-да... я рад, что вы меня понимаете, Елена Григорьевна, и еще более счастлив, что вам уже лучше. А сейчас позвольте откланяться. Можете быть уверены: в моем доме о вас позаботятся.

– Благодарю вас, – безучастно процедила Леночка ему вслед. Потом встала и бросила через плечо, не оборачиваясь: – Кира, мы уезжаем!

Молчание было ей ответом. Оглядевшись, Лена нигде не увидела троюродной сестры. Еще раз не спеша обвела взглядом танцующих (а вдруг!), играющих в карты, никак не могущих оторваться от застолья, беседующих, скусающих и мирно дремлющих в уголке. Киры Каравановой нигде не было.

Извинившись перед Ниной за спешный отъезд и еще раз поздравив ее с днем Ангела, поблагодарив ее и князя Романа за радушный прием, Леночка спустилась в сад.

– Кира! – позвала она в темноту. Ее зов услышали лишь тяжелые от налипшего снега розовые кусты, статуи в саду да скупое на звезды петербургское небо.



Глава 6

Подвиг любви

– Катись-ка ты отсюда, доктор Таддеус Финницер, – беззлобно и устало попросил Александр Онуфриевич вместо приветствия.

– Entschuldigen Sie mir bitte...⁸ Простите великодушно, никак не могу. Если человек болен, то помочь ему – мой долг.

– Да чем тут поможешь... – вздохнул хозяин.

Доктор Финницер повнимательнее взгляделся в его лицо. Роскошная борода мешала рассмотреть некоторые черты, но немец все равно был уверен в своей догадке:

– Александр! Это... Natalie больна?! Скарлатина?! И ты еще смеешь не пускать к ней доктора?! А ну-ка!.. – Он хотел напереть на Александра Онуфриевича плечом, но габариты были несопоставимы, и тогда доктор Финницер как угорь протиснулся между стенкой и мощным корпусом перегородившего проход хозяина.

– Стоять!!! – рявкнул Караваев ему вслед, но немец сейчас же попал в распоряжение Феши, которая явно была другого мнения.

– Вы лекарь? Ой как хорошо! Вот и слава Богу! Григорий Афанасьич прислали? Ну дай Бог ему здоровьичка и детишкам евойным! – Пожилая крестьянка истово перекрестилась на ходу несколько раз.

Доктор, не слушая ее причитания, опрометью ворвался в комнату и склонился над больной. Наталия Ивановна лежала, закатив глаза в потолок, что-то лепеча запекшимися губами. Ее светлые волосы разметались, покрыв собой всю подушку и большую часть кровати. Немец машинально взял ее руку, послушал пульс, потом профессиональным жестом потрогал лоб и тут только, каким-то внутренним подсознанием, холодком по спине, мурашками по коже и упавшим куда-то в бездну сердцем ощутил, что имеет весьма смутные представления о том, как лечить эту проклятую пурпурную лихорадку или, по-научному, скарлатину.

– Фетинья Яковлевна! – позвал он негромко служанку, с которой уже успел познакомиться.

– Чаво изволите, барин? – Готовая на услуги Феша подскочила ближе.

– Первым делом, Фетинья Яковлевна, успокойте барина. Скажите ему, что утекло слишком много воды, и эта вода, как ей и положено, смыла и унесла с собой всю грязь. Он поймет, о чем это...

– Да уж понял, – пробурчал Александр Онуфриевич из столовой, смежной с комнатой больной. – Ты мне давай не разглагольствуй, немчура, а дело свое делай.

– А во-вторых, принесите мне, пожалуйста, таз горячей воды и этот... essig... как его по-русски-то... уксус! – вспомнил наконец доктор Финницер.

Феша убежала исполнять, а доктор все слушал неровное дыхание больной и... поймал себя на мысли, что чуть не до крови раскусил нижнюю губу и даже не чувствует боли. В голове вертелись рецепты различных мазей, настоек, микстур, и все было не то... ведь вот как бывает на свете: тридцать лет лечишь людей от самых разных недугов, не имеешь в своей практике ни одного смертельного случая – и тут на тебе! Единственной, кому почти бессилён помочь, оказывается женщина, которую эти тридцать лет назад ты любил со страшной, даже сокрушительной силой. С возрастом чудовищность прошла, да и любовь... Разве умеет любить старый бобыль, равно рассматривающий женщин и мужчин исключительно с точки зрения врачебного искусства? Женское тело давно уже перестало его будоражить, а женская душа – вдохновлять

⁸ Извините, пожалуйста (нем.).

на подвиги, и вдруг здесь, в небольшом домике почти на окраине Углича, свет снова сошелся клином. В первый раз в жизни женщина не в лучшем своем состоянии вызвала не отвращение, не чисто врачебную деловитость, а приступ нежности. Это было некстати и очень мешало работать.

Вернулась Феша, и доктор, почти не размышляя, положил на шею больной компрессы из горячей воды и уксуса. Показал сметливой крестьянке, как их менять, и задумался над следующим шагом.

– У вас есть корова? – спросил он деловито.

– А как же! Есть, кормилица. Так и зовут ее.

– Давайте больной молока. Поите пока с ложечки, но как можно чаще.

– Поняла, барин, поняла... Триша! Трифон, негодник, где тебя черти носят!

– И пожалуйста, не кричите так громко: больной нужен покой, – строго говорил доктор, меняя компресс.

Феша закрыла рот руками, как бы обещая больше не кричать.

Наступила тишина, и всем присутствующим казалось, что она длится вечность. Потом доктор Финницер услышал из смежной комнаты странный звук. Как будто что-то пересыпалось из одного места в другое, а временами – словно на пол падало что-то тяжелое. Осторожно выглянув из комнаты больной, доктор Финницер увидел, что это хозяин, затеплив лампаду перед большими темными образами, шепчет слова молитв, поминутно падая ниц и ударяя об пол лбом. Немец хмыкнул, но про себя подумал, что, может быть, только это и поможет.

* * *

Быстро выйдя из дома Щенятевых, Кира поняла, что не знает, куда идти, и ноги сами повели ее в сторону Смоленского кладбища. Атласные бальные туфельки скоро завязли и потерялись в глубоком снегу, и барышня пошла дальше босиком, то и дело останавливаясь, потому что подол платья намок и потяжелел, мешая идти.

Ксению она нашла за оградой кладбища, посреди поля. Та на коленях молилась о чем-то своем – быть может, о покойном муже, а может, обо всем засыпающем городе, о том, чтобы поменьше в нем было таких смертей. Кира подошла к ней, склонившись, протянула запеченное яблоко, которое стянула с обеда у Щенятевых, и проговорила тихо:

– О здравии тяжко болящей Наталии.

Юродивая не шелохнулась, но Кира проследила движение ее глаз. Ксения смотрела туда, где, присыпанные снегом, спали лачуги низшего слоя населения столицы. Барышня поняла, дошла до крайней лачуги, подметая подолом снег, положила яблоко на окошко и вернулась. Опустилась на колени чуть поодаль от Ксении и тоже доверила небу, снегу и крестам, осенявшим старые надгробия, свою молитву.

* * *

– Сегодня должен наступить кризис, – сказал доктор Финницер, снимая с шеи больной очередной компресс. И только очень чуткое ухо услышало бы в его голосе тревогу и усталость: он ухаживал за Наталией Ивановной уже часов восемнадцать кряду, начал сразу с дороги и пока еще ни разу не поел и не сомкнул глаз.

– Это что ж такое – *кризис*? – непонимающе переспросила Феша.

– Одно из двух: или пойдет на поправку, или... – Доктор услышал хрип больной и тяжело замолчал, не договорив, что «или». – Я сделал все что мог. Дальнейшее в руках Великого Врача, перед Которым я склоняюсь в молчании и воле Которого подчинюсь.

Из его речи Феша поняла только то, что сегодня барыня должна или умереть, или подняться, но внутренним, бабьим каким-то чутьем уловила главное: иноземный лекарь места себе не находит и потому стал многословен, из чего заключила, что барыня скорее скончается, чем выздоровеет. Крикнула Три-шу, опять куда-то удравшего:

– Трифон, сходи в Корсунскую церковь за отцом Василием.

Тришка, едва запахнув зипун, выбежал на улицу. Он понял, *что* это значит, и бежал теперь сломя голову и всю дорогу повторял про себя: «Господи помилуй!» Барыню он уважал, но сейчас болел сердцем не столько за нее даже, сколько за дочь ее, а его подругу. Триша знал, что смерти Наталии Ивановны Кира не вынесет. А он не вынесет Кириных слез. Он уже видел их однажды и понял, что это страшнее даже, чем больной зуб или великопостная исповедь. Других сравнений его простой мозг придумать не мог, но никогда еще в жизни Тришке не было так страшно, как сейчас.

Трифона не было, кажется, несколько часов, хотя на самом деле прошло не больше двадцати минут. Наталия Ивановна Караваева повернула голову, тихонько простонала и силилась что-то сказать, но не могла. И тогда весь ужас того, что могло произойти, помноженный на внезапный приступ нежности, бессонную ночь и чувство голода, придавил доктора Финницера. Тот бессильно рухнул в изножье больной, закрыл лицо руками и в каком-то исступлении пролепетал:

– Oh, mein Herr...⁹ Если Тебе непременно нужно кого-то забрать, возьми лучше меня.

Пришедший священник сделал глухую исповедь¹⁰ и причастил умирающую. Приняв Святые Дары, Наталия Ивановна спокойно выдохнула и прикрыла отяжелевшие от болезни глаза.

* * *

В запорошенном поле возле старого кладбища, стоя на коленях в снегу, молилась юрдивая Ксения. Неподалеку от нее, с непривычки ежась и икая от холода, молилась Кира. В маленькой комнатушке маленького домика на окраине маленького городка, мерно кадя, молился престарелый священник. Там же, снова бессильно упав головой в изножье больной, молился вполголоса по-немецки доктор. В соседней просторной комнате, перемежая поклоны водкой и водку поклонами, молился Александр Онуфриевич Караваев. Забившись за печку и стараясь не плакать, неумело молился Триша. Феше молиться было некогда, но и она, бегая из комнаты в комнату, то и дело крестилась на ходу на образа.

* * *

– Отошла, болезная? – спросил, просовывая в дверной проем свою большую голову, Александр Онуфриевич. От него пахло ладаном и водкой. «Чисто русское сочетание запахов!» – подумал доктор. Сам удивился, что в такую минуту могут еще приходиться в его голову такие ничтожные мысли.

– Да Господь с вами, барин! – отмахнулась передником Феша. – Спят оне. На поправку пошли-с, не иначе.

Фетинья Яковлевна была права: проспав после Причастия четыре с половиной часа кряду, Наталия Ивановна проснулась почти здоровой. Во всяком случае, жар спал, лицо ее заметно посвежело, и она смогла сесть на кровати и в полной мере оценить, кого послал ей в качестве лекаря Господь и двоюродный брат Гриша.

⁹ О, мой Господь (*нем.*).

¹⁰ Если больной не в состоянии говорить, но хочет исповедаться, священник имеет право сделать так называемую глухую исповедь, то есть отпустить грехи без перечисления их кающимся.

– Фадюша? – Хозяйка улыбнулась, назвав лекаря русским именем, и на щеках ее появились обаятельные ямочки. – Вот уж не чаяла! Как благодарить, даже не знаю...

– Лучшая благодарность лекарю – что пациент здоров! – сухо ответил доктор Финницер. И только Феша, успевшая проникнуться к доктору самой неподдельной симпатией, снова разгадала выражение его глаз. В них было счастье пополам с непонятной грустью и чем-то похожим на чувство вины.

К утру, немного поев, Наталия Ивановна встала, при помощи Феши оделась и заплела косы, попросила позвать отца Василия отслужить благодарственный молебен и как ни в чем не бывало принялась хлопотать по хозяйству.

Тем же вечером слег в пурпурной лихорадке доктор Таддеус Финницер.



Глава 7

Три озарения студента Безуглова

– Не хотите ли загадку?

– Изволь, Арсений Григорьевич!

– А вот: доводилось ли вам когда-нибудь видеть золотую осень среди зимы?

Студенты сосредоточенно засопели, пытаясь придумать отгадку, наконец один из них, чернявый кучерявый Андрюша Синицкий, неуверенно спросил:

– Это... костер на снегу?

– А можно, кстати, и так сказать! – обрадовался Арсений. – Но ты, между тем, все равно не угадал. Подумай еще!

– Братцы, позвольте пригласить вас всех на мою свадьбу в будущее воскресенье! – после некоторого молчания перевел тему розовощекий блондин Алешка с неприглядной фамилией Пиголицын.

– Вот как? На ком же ты собрался жениться? – загалдели все сразу.

– На Оленьке Злотниковой.

– Это на той, что прошлый год приезжала с маменькой поприветствовать тебя с днем Ангела?

– Да, на ней.

– Так, погоди... – почесал голову Арсений. – Она же, сколь я помню, тебе троюродная сестра. Разве можно?

– По благословию правящего архиерея можно! – парировал Алешка безапелляционным тоном.

– И что, – ехидно поинтересовался Арсений, – вы с Оленькой ездили к преосвященному Илариону?

Алешка огляделся и, понизив голос, шепнул приятелю:

– Послушай, да кто там смотрит! Сам понимаешь, до Бога высоко, до преосвященного Илариона далеко!

– Вот это, друг мой, слова не мальчика, но мужа! – Арсений одобрительно похлопал друга по плечу. – Где свадьба-то будет?

– В Иоанне Воине. На Оленькином приходе.

– Венчаетесь в церкви, посвященной воину? Смотри, как бы не воевать потом всю жизнь.

– Это ты на ходу приметку придумал, братец. Отродясь не было такой, – сконфузился Алешка.

– Прав, не было, а только не складно ли придумано? Ведь и все суеверия по схожей логике строены, а?

– Пожалуй, что и складно. – Алешка хотел еще что-то сказать, но пора было идти слушать лекцию по римскому праву.

Шутки шутками, это по молодости, пожалуй, что и можно, а вот к лекциям студенты Московского университета относились со всей серьезностью. Поэтому Арсений Безуглов, как и его товарищи, слушал пожилого плешивого профессора очень внимательно. И тут, когда красноречивый лектор живописал римское право времен ранних христиан, темноволосую голову Арсения, прикрытую белым париком, посетило первое озарение.

«А ведь пожалуй, что христиане первых веков были гонимы не столько даже за Христа, сколько за отказ жить по общепринятым нормам и правилам», – подумал он. Эта мысль была так стройна, хороша и нова для юноши, что он немедленно записал ее и стал в своем сознании развивать.

«Потому и притесняли первых христиан, что считали их чуть не государственными преступниками... А у нас, в Российской стране, в наши дни как назовут и кем сочтут человека, сознательно живущего вразрез с законами? Разумею не законы государства даже – тут-то как раз все понятно, – а некие устоявшиеся в обществе нормы, как бы это сказать, бытовые... Вероятней всего, сумасшедшим». И вдруг, как неожиданная вспышка молнии, ослепившая в свое время Савла и одновременно сделавшая его из великого гонителя великим апостолом, мелькнула в сознании студента Безуглова картинка, случайно виденная им однажды в родном Петербурге. Молодая женщина в простой зеленой кофте и красной юбке (впрочем, он забыл, может, и наоборот, но она почему-то все время носила только эти цвета), в белом платочке. С настолько разумными глазами и такой живой и кроткой улыбкой, что у Арсения тогда защемило сердце. Щемануло и сейчас, но, как и положено молнии, так же быстро прошло. Так и есть, ее все считают городской сумасшедшей, потому что она осознанно ни за что ни про что подарила свой дом подруге и странствует по Петербургу, не имея где приклонить голову. Потому что зовет себя именем мужа и уверяет, что умер не придворный певчий Андрей Федорович Петров, а жена его Ксения. Потому что вещи говорит диковинные, не имеющие, кажется, вообще никакой логики и связи с реальностью. А только Леночка давеча писала ему об услышанном на балу – и о младенце Параши Антоновой, и о вдовом докторе, за которого Катя Голубева, кажется, все-таки собралась замуж... А может, и семнадцать веков спустя ничего не меняется? Появись сейчас среди них святой – такой вот, сошедший с клейм старого темного образа, – так его, пожалуй, распяли бы, как Христа, только в тот же день и прямо посреди Красной площади.

Это откровение занимало Арсения весь остаток лекции – последней в тот день – и весь путь под снегом до домика крестьянина Анфима Павлова, где юноша квартировал с двумя приятелями, пока не был достроен пансион, и почти все время до сна.

Второе откровение явилось следующим утром, едва Арсений встал с постели и привел себя в выходной вид. К нему подошел хозяин домика, Анфим Павлов, и, ехидненько так подмигивая, шепнул:

– Я, барин, вчорась ваш камзольчик почистил – так вот чаво нашел. К пуговице прицепилось. – Сухощавый седой крестьянин держал между пальцев рыжий волос.

– Спасибо, – ответил Арсений бесстрастно и попытался быстрее припрятать этот волос куда-нибудь подальше, чтобы его товарищам не пришли в голову всякие лишние вопросы. Увидев хитрющее лицо хозяина, понял, что от него, по крайней мере, не отвертеться. Договорил: – Спасибо, что не выкинул.

Забавно: должно быть, Кириин волос зацепился за его пуговицу, когда Арсений пытался снять троюродную сестру с лошади, чтобы она не бросалась в Углич ходить за больной матерью. И снова яркой вспышкой – женский образ: Кира Караваева, сидящая в снегу. Платок сполз назад – кажется, она не очень-то умеет крепко его завязывать, – и рыже-золотые пряди почти закрыли ей лицо, но из-под них видны полные решимости серые, как пасмурное небо над Петербургом, глаза; некрасивое лицо разрумьянилось – от мороза ли или от все той же решимости? – а сверху сыплет снег, и на ресницах и огненных волосах, на тулупе и нелепых стоптанных валенках – бело-золотые искры. И это она и есть, золотая осень среди зимы, и нет на всей земле, а может, и за ее пределами ничего более сказочного и ничего более настоящего.

Видение довершила мелькнувшая в сознании фраза Алешки Пиголицына: «с благословения правящего архиерея можно». Впервые в жизни Арсений Безуглов подумал о Кире не как о сестре, а как о женщине. И самое поразительное: эта мысль ему понравилась. Да, Кира Караваева далеко не красавица, если не считать волос, и, наверное, ума там не палата, но она так разительно не похожа на всех женщин, с которыми Арсений был знаком (да что греха таить, тайком от всех с парой друзей ходил однажды ради интереса в дом терпимости – интерес был вознагражден сполна, но после этого как-то очень быстро пропал), что в этом есть даже что-то заманчивое.

Студент Безуглов был уже почти готов идти на занятия, когда почта принесла письмо, а с ним и третья, самое невероятное озарение.

Писала Паша, и не ему, а Леночке, потому как неприлично незамужней девушке писать мужчине, пусть даже она ему невеста, но Леночка, конечно же, переслала ему.

«Дражайший жених мой, как пусто и скучно было без Вас на именинах княжны Щенятевой! В особенности, конечно же, потому, что нелепые наряды присутствующих дам остались без Ваших язвительных замечаний. И потому еще, что танцевать на том празднике было решительно не с кем, ибо кавалеры были одеты столь же безвкусно, что и дамы, да и разговаривать с ними было совсем не о чем. Вот разве только слухи о бродяжке Ксени. Княжна Щенятева уверяет, что у Параша Антоновой есть младенец и что она нашла его у Смоленского кладбища с подсказки бродяжки Ксени. Да только доверчивая эта Щенятева больно, а мне думается, что нагуляла Параша младенца этого, а на Ксению теперь переваливает. Потому как странницы и богомолицы – люди тихие и безответные, на них хоть смертоубийство навесить можно – и то не отговорятся. Тем паче ежели человек умалишенный. Потому как русский народ с незапамятных времен любит калик перехожих, бродяжек, юродствующих и прочих сброд в том же духе, и слава Богу, что Государь Петр Великий принес в Отечество наше просвещение, да, видно, не до конца еще повыветрилась из голов людских привычка любить дураков всех мастей.

Да что-то отвлеклась я от главного, о чем хотела писать Вам, дражайший жених мой. А главное это состоит в том, что жаждет душа моя лицезреть Вас на Масленой дома и в добром здравии. Примите, помимо того что не подобает благовоспитанной девице выражать на письме словами, еще и всегдашнее мое почтение и глубочайшее уважение.

Всегда Ваша,

Баронесса Прасковья Дмитриевна Бельцова».

И по тону письма, по его смелости даже – хотя именно за эту смелость и дерзость он и выбрал в свое время из всех девиц именно ее, – по гордой подписи под неофициальным письмом, да шут знает, почему еще, но вопреки законам логики, никак не вытекая из предыдущего озарения, холодком под ложечкой и резко испортившимся настроением Арсений понял, что совсем не хочет венчаться с Пашей Бельцовой. Ни на Красную горку, ни когда бы то ни было.



Глава 8

Дивна дела Твоя, Господи

Груббе

*Я не видел, чтоб так умирали
В час, когда было все торжеством.*

Лаге

*Наши боги поспорят едва ли
С покоряющим смерть Божеством.*

(Н.С. Гумилев)

Доктор Финницер болел мучительно долго, успев измотать неутомимую Фешу и только оправившись от той же заразы Наталию Ивановну. Александр Онуфриевич ворчал, краснел, бледнел, бил посуду, грозился уйти в запой, но ни он, ни сам больной никакими силами не могли запретить хозяйке ухаживать за захворавшим.

– Вот, попей, Фадюша, я молочка подогрела, – вполголоса сказала Наталия Ивановна, бесшумно опускаясь на стул рядом с доктором и ставя поднос себе на колени. На подносе стоял котелок, полный почти горячего молока, лежали ложка и салфетка. Хозяйка осторожно одной рукой приподняла голову больного, другой поднесла ко рту ложку.

– Попей, – попросила она снова.

– Natalie... уйди, заразишься...

– Не ври, сам говорил, раз в жизни этой лихорадкой болеют. Кто перенес, тому уже не страшно. Вот я и не боюсь.

– У тебя хозяйство... семья... – Больной говорил тяжело, прерываясь то на дыхание, то на очередной глоток молока.

– Хозяйство, семья, – соглашалась хозяйка, – и тяжело больной друг, который спас мне жизнь. Каково ж это будет: друг меня спас, а я его не спасу?!

– Этот твой друг едва не лишил нас счастья, ежели ты забыла! – ворчал из большой комнаты хозяин.

– Кто старое помянет, тому и глаз вон! – Наталия Ивановна была невозмутима и решительна. Это ее мужа злило и одновременно обезоруживало.

– А кто забудет, тому оба, – пробурчал он, все еще пытаясь спорить.

Хозяйка вышла из комнаты больного и оказалась лицом к лицу с мужем. Увидела его полыхающее гневом лицо. Она знала, что в ярости Александр Онуфриевич бывал страшен, но почему-то сейчас впервые в жизни совершенно его не испугалась. Быть может, потому, что была кристально уверена в своей правоте.

– Саша, но ведь он наш гость, к тому же он вылечил меня.

– Не он тебя вылечил, не он! – кричал хозяин. Тыча себя кулаком в грудь, продолжал горячиться: – Вот кто тебя вылечил! Сутками Бога молил, чтобы ты встала! Лоб расшибал перед образами!

– Господь и вылечил, не иначе, – согласилась Наталия Ивановна, крестясь в красный угол, – твоими молитвами. И радением моего кузена Гриши, который потрудился прислать мне лекаря, хотя никто его об этом не просил.

– Господь и вылечил, – встряла Феша, – да только вы, барин, сутками лоб расшибали, а ентот лекарь, я сама слышала, одно слово только сказал – мол, заberi, Господи, меня, ежели кого-то забрать нужно, а ее оставь. Да не иначе как с тех пор барынька-то и встали.

– Дура баба!!! – завопил не своим голосом Александр Онуфриевич. – Али ты басурманка, в силу Святого Причастия не веришь?

– А кто за отцом Васильем-то послал, чтобы с Тайнами пришел к барыньке-то? – не сдавалась Феша. – Кого Господь надоумил?

В пылу спора хозяин и крестьянка не заметили, что хозяйка снова исчезла в комнате, где лежал доктор Финницер, и поплотнее прикрыла за собой дверь.

– Открой! Открой, растреклятая! – Александр Онуфриевич колотил кулаками в дверь, но та была заперта.

– Фадюша, это... это правду сказала Феша? Ты говорил так? – В голосе Наталии Ивановны слышались строгость, умиление и тревога.

Доктор Финницер кивнул.

– Это... ты зачем?! Зачем?! – Хозяйка, казалось, совсем забыла о том, что больному меньше всего сейчас следует волноваться, и с рыданиями повалилась в изножье кровати – то самое, где всего пять дней назад доктор в таком же исступлении произнес свою страшную молитву.

Вдруг женщина почувствовала, что слабая длиннопалая рука гладит ее по голове. Услышала голос, совсем спокойный и рассудительный:

– Ну как зачем? Чтобы тебя спасти...

– Не слишком ли велика цена?

– Ничтожна, – слабо улыбнулся доктор.

– Перестань! Не говори так...

Александр Онуфриевич, с мясом выломавший своей недожинной силой дверной замок, ворвался в комнату, крепко схватил жену за косы и выволок в столовую.

– Мне ентот твой Фадюша, как ты его величаешь, в кошмарах снится! Ты понимаешь, что он чуть не сотворил в ту ночь, когда мы с тобой убежали? Подумай, что было бы, ежли бы сотворил?... Да пусть бы подыхал в канаве, а не пил с ложечки молоко, да еще из твоих рук!

Наталия Ивановна встала и воззрилась на мужа. Глаза ее полыхали, как два огнива.

– Христос на Кресте, ты думаешь, умирал за праведных? за благодарных? Это во-первых. А во-вторых, обидеть гостя сродни святотатству!

Успокоилась и договорила совсем тихо и спокойно:

– И потом, ты же не знаешь, что там было до того, как ты вышел на наш дом.

– А что было? – спросил Александр Онуфриевич строже некуда.

– Он ведь целых полгода у нас прожил, пока ты не пришел... Все было как в хорошем сентиментальном романе. Целомудренно, красиво и безнадежно. – Она горько усмехнулась.

– А потом появился я и все испортил, – хмыкнул хозяин еще горше.

– Нет, дело было не в тебе, а в том, что Фадюша – немец, лютеранин. Да и не нравился он мне. Нет, в смысле, я готова была его любить, но только как доброго, нежного брата, не более того.

На последних словах Александр Онуфриевич закрыл ей рот рукой:

– Когда он выздоровеет – уходи с ним.

– Что? Ты прогоняешь меня?

– Я недостойн жить рядом со святой, – совершенно искренне вздохнул мужчина.

Наталия Ивановна поняла, что он говорит серьезно и без тени иронии.

– Да ну что ты, Саша... Ну какая же я святая!

– Самая настоящая. Умеющая прощать и любить врагов своих.

Хозяйка хотела что-то возразить, но в этот момент подал голос доктор Финницер:

– Natalie... ты здесь?

– Здесь, Фадюша. Молока еще дать?

– Нет-нет... я просто хотел некультурно вмешаться в вашу беседу. На мой счет Александр может быть спокоен: я не выздоровею.

– Да ну что ты такое говоришь! – Наталия Ивановна всплеснула руками.

– Правду. Ты же помнишь мою молитву?

– Господь понимает, когда говоришь сгоряча, не подумав. Он не заберет тебя.

– Эх... неужели я и Его недостойн, не только тебя? – горько усмехнулся доктор Финницер.

– Нет, я не в этом смысле.

– Я не встану, – повторил доктор уверенно и совершенно спокойно. – И перед тем как уйти – а это будет уже скоро, очень скоро – я лекарь, я знаю, – у меня есть целых два желания... Вот ведь наглец, а? Не всем и одно перепадает, а я на два замахнулся...

Наталия Ивановна, из последних сил сдерживая слезы, кивнула, давая понять, что слушает.

– Во-первых, позови священника.

– Ах, Фадюша, в нашем маленьком городке вряд ли отыщется лютеранский пастор.

– Нет-нет, ты не поняла. Позови отца Василия из вашей церкви. Я думаю, он не откажет в последней просьбе христианину, пусть и другой конфессии.

Наталия Ивановна снарядила было в Корсунскую церковь Тришу, но доктор Финницер упрямо проговорил:

– Нет, я хочу, чтобы ты непременно ходила сама.

– Эй ты, немчура, – буркнул Александр Онуфриевич, – за окном метель воеет, а Наталия только после болезни. Себялюбец ты, вот ты кто!

– Замолчи, Саша! – строго воскликнула Наталия Ивановна. – Закутаюсь потеплее – и не заболее больше. Последняя просьба – самая святая, самая неперемнная к исполнению.

Александр Онуфриевич уже в дверях резко поймал жену за руку, но хозяйка вырвалась и побежала выполнять просьбу.

Отец Василий, кажется, смекнул, зачем умирающий немец хотел видеть именно его, поэтому кроме дароносицы прихватил с собой еще ларец с некоторыми церковными принадлежностями. Священник не ошибся.

– В присутствии свидетелей, – улыбнулся доктор, – пока Господь не забрал меня... я хотел бы присоединиться к вашей вере, могущей подымать больных силой Святого Причащения. Natalie, будешь моей крестной матерью?

– Буду, – кивнула Наталия Ивановна, уже не сдерживая слез.

– А крестным отцом я попрошу стать достопочтенного отца Василия. А теперь, отче, не будете ли вы столь любезны начать?

Своим чередом совершилось Таинство миропомазания, в ходе которого доктор Финницер из Таддеуса стал Фаддеем Васильевичем, по славной традиции получив отчество по имени крестного отца. Его остроносое лицо обрело умиротворенно просветленное выражение, какое бывает, пожалуй, только на Пасху.

Пока священник готовил все для Причастия, хозяйка поинтересовалась:

– Каково же будет твое второе желание? Если столь же прекрасно, как первое...

Доктор не дал ей договорить, жестом прося наклониться, как будто желая сказать ей что-то на ухо. Наталия Ивановна склонилась к нему, и доктор бережно, как будто боясь ее разбить или смять, коснулся губами ее крутого бледного лба. Спустился вниз по линии волос, немного помедлил перед последним поцелуем, в висок, а потом выдохнул радостно:

– Ну вот и все.

Отец Василий поднес ему Святые Дары, но больной жестом остановил его и произнес как-то даже торжественно:

– Natalie, Александр... я очень виноват перед вами обоими прежде всего за ту ночь. Прости меня, Natalie. Я был в отчаянии... и сдуру, сгоряча, с молодости не мог придумать другого способа удержать тебя... Как я благодарен Богу и тебе, Александр, что мне не удалось тогда исполнить свое гадкое намерение. Простите меня, если сможете.

Александр Онуфриевич вошел в комнату. Долго молчал, видно было, что решение дается ему с трудом. Молчал он минут десять. Потом глубоко вздохнул несколько раз и, махнув рукой, пробормотал:

– Господь тебя простит, Фаддей Василич... – и поскорее засеменял обратно в столовую. Наталия Ивановна поняла: чтобы никто не заметил, как он плачет.

– И еще... – продолжал умирающий доктор, – я рассказал твоим родителям, что вы бежали.

– Что ж, и за это пусть простит тебя Господь, – кротко отозвалась Наталия Ивановна. – Думаю, это им было и так очевидно.

– Ну вот и все, – повторил доктор Финницер, приняв Причастие. Перекрестился по-русски и блаженно, с чувством полного, невыразимого счастья тихо закрыл глаза.

– Дивна дела Твоя, Господи! – широко перекрестилась Феша.

Наталия Ивановна протянула руки, приняла в них обессиленную голову лекаря и крепко прижала ее к груди.

– Упокой, Господи, душу раба Твоего Фаддея. Прими его в Твои Небесные селения и сотвори ему вечную память... и слава Тебе за то, что я могу сказать эти слова. Воистину дивна дела Твоя, Господи.



Глава 9

Масленица

Но на Масленой неделе Паше Бельцовой не удалось, выражаясь ее же словами, лицезреть своего дражайшего жениха дома, потому что Александр Онуфриевич и Наталия Ивановна решили, что раз из-за болезни матери и доктора Финницера Кира объедала родственников лишних пятнадцать дней, то ее родители просто обязаны отдариться и пригласить Безугловых к себе праздновать Масленицу.

Больше всех такому повороту событий радовался Арсений: при мысли о том, как он будет объясняться с невестой и какой предлог придумает, чтобы расторгнуть помолвку, ему делалось дурно, как кисейной барышне, и юноша изо всех сил старался оттянуть этот момент.

– Главное, не затянуть до самой Красной горки, – хмыкнул горе-жених, усаживаясь в коляску рядом с братом. – Надо, надо поговорить с ней... но все-таки хорошо, что не теперь: как ни крути, а все ж таки не хотелось бы омрачать ей праздник.

По правде сказать, едва ли не больше этого тяжелого разговора его пугала предстоящая встреча с Кирой. Уж к кому к кому, а к ней он никогда не ожидал испытать что-то другое, кроме покровительственных чувств старшего брата, а вот теперь жизнь задала загадку, и разгадать ее, честно говоря, было немного боязно. В самом деле, как это можно – молодому человеку его круга, столичному жителю, считающемуся среди друзей пусть не красавцем, но одним из любимцев барышень, любить провинциальную нескладеху, рябую от перенесенной оспы, без талии, без умения держать себя, без манер, без образования? Сестра – это одно, сестер не выбирают, и совсем другое дело, если вдруг в отношении этой самой сестры ты становишься полон самых серьезных намерений, сам от себя такого не ожидая... Но в глубине души Арсений надеялся, что все это блажь, сон, бред и новая встреча с Кирой Караваевой поможет ему в этом убедиться.

Коляска тронулась, и веселый перезвон бубенчиков моментально разогнал тоску и придал праздничное настроение.

– Что-то ты нынче задумчив, Арсюта, – поинтересовался Матвей, обводя брата взглядом темно-серых с нежной голубизной глаз из-под пушистых светлых ресниц, за которые острые на едкое словцо соученики называли его лошадкой. – Масленая началась! Надо радоваться!

– Ох, не люблю я это «надо», – вздохнул старший брат. – Радоваться надо искренне, от души, а не просто потому, что праздник.

– Чудной ты стал в этом своем университете... А помнишь, как мы раньше играли в долгой дороге, чтобы не помереть со скуки? Искали маленькие поводы для радости, кто больше найдет. Давай попробуем опять?

– Давай, – улыбнулся Арсений из-под усов. Может, хоть эта дурацкая детская игра поможет ему развеяться...

– Масленица, – загнул палец Матяша, радуясь, что брат поддержал затею.

– Весело звенят бубенчики, – ответил Арсений.

– Солнце искрится на снегу.

– Не надо идти в университет, – ляпнул старший брат, хотя на самом деле учиться любил.

– И в гимназию, – поддержал Матяша.

– Новый полушубок, – вставила со своего места Леночка, и оба брата засмеялись.

– Сестра-красавица, – продолжил игру Арсений.

– Брат-умница, – парировал младший.

– И у меня, – подмигнул старший.

Снова юношеский смех. Небольшая пауза. Коляска взъехала на пригорок, с которого открылись застывшая во льду речка и стройный безлистый березняк на том берегу.

– Самая красивая страна на свете! – воскликнул, задохнувшись от таких видов, Матяша.

– Это ты просто или игра продолжается?

– Пожалуй, что и так и эдак. Так что твой черед.

Старший брат задумался. Проигрывать не хотелось, но что-то больше ничего не приходило в голову. Наконец сообразил:

– Родня в маленьком городке, куда можно уехать на праздники.

– Рыжеволосые девушки, – отозвался Матвей. Он, кажется, говорил просто так, зацепившись рассеянным взглядом за конопатую девку с коромыслом, встреченную ими по дороге, но Арсений внутренне напрягся. Зачем брат это сказал? Догадался и дразниться? Вряд ли: не похоже на Матяшу. Сам думал в этот момент о Кире? Возможно, особенно после слов старшего брата о родне в маленьком городке, но в каком смысле? Если просто как о сестре, то какой же это повод для радости, когда эта нескладеха вечно встречается во всякие приключения... не хватало еще быть соперником собственному брату! А впрочем, в четырнадцать лет оно бывает. Пройдет, ничего.

– Да меня, знаешь ли, брат, вообще девушки радуют, не только рыжие, – а это он ловко вывернулся!

– Отлично! Будем считать, что это твой ход был. Теперь, стало быть... наша вера! – воскликнул мальчик патетически, ловя взглядом золотой куполок промелькнувшей церкви.

Спорить Арсению не хотелось: все равно брату не объяснишь... Все еще под впечатлением от предыдущих Матяшиных слов выпалил почти на автомате:

– Моя предстоящая свадьба с Пашей Бельцовой.

– И то, что мне свадьба предстоит еще не скоро... и не с ней, – последнее – вполголоса, робко, но искренне. Он думал, что брат рассердится, но тот расхохотался.

Коляска качнулась и встала.

– То, что мы наконец-то доехали! – снова встряла в игру Леночка. – А то такая скукота в дороге. Если б не ваша веселая игра, я бы, наверное, и вовсе заснула.

– И то, что ничего с нами в дороге не случилось, – совсем уже тихонечко проговорил Матвей, хотя была не его очередь.

– Что это, мой дорогой братец боится зимней дороги? – усмехнулся Арсений. – Чего же ты боишься – снегопада, бездорожья, волков?

– Мало ли, – поежился Матяша, – всякое бывает. Давеча мальчишки сказывали, третьего дня ехал один купец куда-то по своим делам, да колеса на льду заскользили, едва коляска не опрокинулась.

– Ну, ребята любят рассказывать разные страшные истории, – ободрил старший брат младшего, вылезая из коляски. Леночке подали руки оба сразу, так что сестра могла лишний раз убедиться в том, какие у нее замечательные братья.

Родители ехали в другой пролетке, уже добрались и теперь стояли, поджидая детей, рядышком с Александром Онуфриевичем, Наталией Ивановной, Кирой и Тришей, готовым сорваться с места и начать снимать с коляски пожитки приехавших гостей. Вместе с ним к коляске подошла Кира и легонько взвалила на плечо Леночкин узелок.

– Здравствуй, Арсений! Привет, Матяша! Здравствуй, Леночка! Не устала с дороги?

Она вела себя почти как Триша, как будто она не дочь хозяев, а крепостная, вроде Феши. Конечно, отец у нее «из простых», как выражалась Мария Ермолаевна, но все-таки это выглядело странно, почти неприлично для благовоспитанной барышни, пусть и из провинции. Это коробило, но окончательно разобраться в своих мыслях по этому поводу Арсений не успел, потому что подошел к дому и поприветствовал хозяев. Наталия Ивановна обняла его: она была крестной матерью всем детям Безугловых и крестников очень любила.

– Как ты возмужал с тех пор, как я тебя не видела, Арсений! И усы тебе идут очень. Совсем взрослый стал!

– Здравствуйте, – просто сказал Матвей, догоняя брата.

Александр Онуфриевич улыбнулся и крепко пожал ему руку – так же, как до того приветствовал Арсения. У Наталии Ивановны нашлись объятия и для него и теплые слова тоже, но Безуглов-младший заметил, что у ее глаз появилась пара новых морщинок, а в волосах – тонкие ниточки седины. От этого стало грустно. Хозяйка шепнула ему что-то на ухо, и на Матяшином простом лице засияла улыбка, развеявшая грусть.

– Тетушка Натали, дядюшка Александр, как я рада вас видеть! – воскликнула Леночка, чуть не с разбегу кидаясь в объятия гостеприимных хозяев.

– Взаимно, Леночка, взаимно, – улыбнулись оба одновременно. – Что нынче нового в столице?

– Да много всего сразу, и не расскажешь, – смутилась Лена. – На балу у Щенятевых только и речи было, что о Ксении. Мы с Кирой из-за этого до конца не остались. – Девушка скрыла от хозяев, что Кира покинула бал без ее ведома: она ведь должна была за этим следить на правах старшей... – Ей-богу, Ксения мне все брачные планы портит!

– При чем здесь она? – удивилась Наталия Ивановна, и тонкие брови поднялись в две крутых дуги над ее большими глазами с грустинкой.

– А при том! Кто же захочет на мне жениться, когда перед глазами такой пример! А вдруг я тоже склонна к... – Она не сказала к чему, но покрутила тонким пальчиком у виска.

– Как знать, возможно, Лена, ты не совсем права, – сказала хозяйка покровительственным тоном, приобнимая племянницу одной рукой, пока они шли к дому.

Матяша и Арсений пошли с Александром Онуфриевичем и Кирой, и, пока старшие обсуждали университетскую жизнь и новые научные достижения, Матвей, не зная, что сказать, но непременно желая сказать хоть что-нибудь, поделился с троюродной сестрой их с Арсением игрой в маленькие радости.

– Как здорово! – обрадовалась Кира. – Мне иногда кажется, мы с мамой каждый день в такое играем. Жизнь непроста, и если не находить все время хоть маленькие поводы для радости, ее вообще не вынесешь.

Матяша, в силу возраста и характера, не понял, чем же так непроста жизнь, но то, что Кира оценила игру, ему понравилось.

– Вот после обеда и поиграем. Папа обещал разные масленичные забавы, но если это, конечно, не поедание блинов, то рты свободны и мы сможем поиграть и в ваши маленькие радости тоже.

Она так простосердечно радовалась приезду Безугловых, что всю дорогу до дома без конца тараторила и звонко смеялась. И непонятно было, отчего именно хотелось смеяться и самому: не то от Кирино легкого характера, не то от солнечных лучей, играющих в чехарду в ее растрепанной рыжей косе.

Обед удался на славу, так что после него действительно хотелось немного размяться на свежем воздухе. Александр Онуфриевич был неутомим на разного рода выдумки. Первым, с чем пришлось столкнуться четверке друзей, была блинная крепость, стоявшая Феше трех бессонных ночей кряду. Из уложенных стопками блинов был сооружен большой дом, который надо было «взять», то есть отбить у противника. Эту роль был готов исполнять Тришка, окопавшийся внутри блинной крепости и прихвативший с собой целый арсенал плотно слепленных снежков.

– Четверо на одного? Так нечестно! – хмыкнул Арсений.

– Ты, правовед, – засмеялся Александр Онуфриевич, – ты б видел, как этот один снежками палит! Да и блинцы-то с сюрпризом! – Он хитро подмигнул юноше.

– Ну что ж, для начала на пары быделиться надоть, – продолжал хозяин, обращаясь уже ко всем. – Приличия ради, барышни отдельно, кавалеры отдельно.

Леночка смешно надулась: в любом состязании она любила быть в одной команде хоть с кем-нибудь из братьев. За их умом она могла отдыхать и не пытаться ни о чем думать: в этом занятии барышня была не сильна.

– Раз. Два. Три! – Александр Онуфриевич хлопнул в ладоши, и две пары игроков бросились с разных сторон на крепость. Бегущие впереди Арсений и Кира были метко обстреляны снежками, летевшими из глубины блинной башни. И как только Триша успевал так быстро кидать снежки!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.